


**АНАТОЛИЙ
АКАНЬЕВ**



**Козыри
монаха
Григория**

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ



**К О З Ы Р И
М О Н А Х А
Г Р И Г О Р И Я**

•

**Т Е Н Ь
И И С У С А**

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЖАЗУШЫ“, АЛМА-АТА —1967

В книге две повести: «Козыри монаха Григорія» и «Тень Иисуса». В них рассказывается о том, как святые пастыри калечат жизни попавшим под влияние религиозных сект людям, остро обличается антинародная сущность сектантства. Драматическая борьба против преступной деятельности монаха Григория Каширина, главаря одной из религиозных сект, составляет содержание повести «Козыри монаха Григория». Трагичны судьбы и героев повести «Тень Иисуса». Одни из них погибают насильственной смертью, другие, затравленные домогательствами братьев и сестер во Христе, сходят с ума, третьи остаются духовными калеками.

В основу повестей автором были положены недавние события, которые происходили в Семипалатинске и Телели.

**КОЗЫРИ
МОНАХА
ГРИГОРИЯ**

глава первая

Ни дороги, ни тропинки; Каширин шел наугад, по памяти; сначала он шагал по дну небольшого оврага, поросшего осокой и кустарником, потом по склону косогора, а когда выбрался на вершину, было уже около шести вечера. Солнце садилось, большое и багровое в наплывающих облаках; где-то за станцией, за железнодорожным полотном коснулось оно земли, и в эту минуту — Каширин даже остановился от удивления — послышался тонкий и протяжный гудок паровоза, затем эхо прокатилось по оврагу, переметнулось в горы и отозвалось многоголосым глухим и далеким стоном. «Знамение!..» Каширин усмехнулся. Усмехнулся потому, что подумал о знамениях, о молитвах, которые надо читать при знамениях, — он знал их наизусть, — о старухах, падающих на колени при одном только упоминании об этом «знаке божьем» («Господи, сколько их, разбросанных по свету, этих доверчивых и неразумных, повязанных черными платками старух!»), и еще подумал о себе — он не верил ни в бога, ни в черта, ни в какие знамения, хотя те самые старухи, всегда покорно слушавшие его по-церковному мелодичный голос, называли его святым отцом Григорием. Он был и святым отцом и монахом. На груди носил четки. Эта связка почерневших от времени и рук деревянных кубиков и квадратиков и сейчас висела на шее, спрятанная под рубашу и пиджак. Каширин поправил полы пиджака и ощупал ладонью четки. И снова вспыхнула и скользнула по лицу усмешка.

Он еще секунду постоял, вглядываясь в багровое закатное небо, прислушиваясь к далеким станционным звукам, и опять зашагал, теперь уже по самой вершине косогора.

Потом спустился вниз, в ложину, отыскал самый большой родник и долго шарил пальцами по дну, взрыхливая песок; останавливался, отогревал руки и опять принимался искать, поспешно, зло; шесть лет назад, еще до ареста, он закопал здесь серебряную ризу с иконы божьей матери; еще тогда хотел открыть «чудо» пятитрубинским верующим и назвать эти родники «святыми». Каширин снова и снова принимался рыть песок то на дне одного, то на дне другого родника — их здесь семь, — в котором запрятана риза? В третьем? Да, кажется, в третьем. Неужели он забыл, неужели память изменила ему? Было уже темно, когда он наконец посиневшими, почти бесчувственными от холода и песка пальцами наткнулся на занесенную илом облицовку иконы. «Она!..» Каширин повертел ее в руках, смыл ил и снова при слабом свете вечерней зари оглядел ее. Да, это была та самая серебряная риза с иконы божьей матери, которую он хранил много лет, хранил сначала просто как ценность, возил с собой из города в город, заворачивая в тряпье, а потом, по совету брата во Христе, немощного старца Дмитрия, зарыл здесь на дно родника для «чуда».

Пресвятая владычице моя богородице, святыми твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиренного и окаянного раба твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение, — негромко, полупшепотом начал Каширин, сначала только для того, чтобы проверить, не забыл ли молитву «Ко пресвятой богородице», но, по мере того как шептал эти слова, голос креп, возвышался, тягуче и напевно звенел в ушах, и он уже представлял, как будет читать эту молитву старухам, упавшим на колени и крестящимся старухам: — И вся скверныя и хульныя помышления отжени от окаянного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, избави от многих лютых воспоминаний и предприятый и от всех действий злых освободи мя, яко благословен еси от всех родов и славится пречистое имя твое во веки веков. Аминь.

Каширин все еще держал в руках ризу; молитва окончена — он не забыл ни одного слова из нее, это хорошо; и голос еще крепок и чист — это тоже радостно. Еще раз прочел ее и задумался. Но теперь он подумал уже не о голосе и не о предстоящем «чуде», которое скоро откроется пятитрубинским верующим женщинам, а совсем о другом: слова молитвы неожиданно пробудили в нем странное ощущение тревоги. «Избави мя от многих лютых вос-

поминаний и предприятий...» Каширин опять, как и час назад, на косогоре, сухо усмехнулся. Шепчи не шепчи, а от воспоминаний не уйти, от жизни не забыть. Прожитые годы, как пудовые мешки, давят на плечи, и никакими молитвами не избавиться от них. Каширин прикрыл глаза ладонью и с минуту сидел так, неподвижно и тихо, и в эту короткую минуту, минуту воспоминаний, пронеслась перед мысленным взором вся его жизнь.

Он вспоминал не последовательно, не событие за событием, как все было в жизни, а лишь отдельные картины, лишь то, что с особенной силой когда-то запечатлелось в душе и сейчас было дорого и ненавистно ему. Избушка лесная, лесной скит, где он прожил почти пять с лишним лет; скит стоял на краю обрыва, окруженный высокими соснами, и эти сосны, этот домик с одним-единственным оконцем, увешанный иконами и образами, склоненные спины старцев — их было сначала трое, потом двое, потом остался один, самый старший, седой как лунь инок Филипп, — склоненные спины старцев, лысые, вздрагивавшие затылки и голоса, тягучие, охрипшие и умиленные, молитвы и книги, молитвы и книги — все это сейчас всплыло в памяти и тоской сжало сердце. Иноки умирали, скит пустел, рядом росли холмики и кресты. Но однажды старец Филипп повел его, маленького сиротского мальчика Гришу, к людям, в село. Они остановились в тени палисадника, напротив огромного деревянного дома, покрытого железом, — зеленая крыша, как церковные купола, ласково отсвечивала на солнце, — сели на траву у штакетника, и старец Филипп торжественно и нараспев, как молитву, произнес «заветное» слово: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем своим! В этом доме жил твой дед, мой родной брат; в этом доме жили отец твой и мать твоя, убиенные ныне Михаил и Настасья; их расстреляли за околлицей, ночью, и тела волоком притащили по снегу на церковную площадь...» Может быть, не так запомнились слова старца, но дом с зеленой крышей, огромный деревянный пятистенник, как живой, стоял перед глазами мальчика. Позднее он узнал, что отец его был раскулачен, осужден и расстрелян за поджог колхозных хлебных скирдов; позднее, юношей, Григорий еще раз приезжал в родное село и видел отцовский дом, превращенный в пекарню, покрашенный и подновленный, с тесовыми пристройками, угольной кладовой и мучным амбаром, но это уже был не тот, не каширинских

богачей пятистенник; позднее, уже после войны, случай снова привел Григория, уже именовавшего себя монахом и святым отцом, проехать через родное село и увидеть дом, теперь почерневший и покосившийся, превращенный в склад для мешкотары, а рядом возвышалось кирпичное здание районной пекарни,— все три встречи, и особенно первая, вспомнились Каширину сейчас так ясно, с такими мельчайшими подробностями, будто он сидел у палисадника, облокотясь о штакетник, и слышал над ухом торжественный и напевный голос старца Филиппа: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем...»

Каширин встал, огляделся вокруг, зябко передернул плечами, будто этим движением можно было сбросить с себя тяжесть нахлынувших воспоминаний, потом нагнулся и торопливо зарыл серебряную ризу с иконы в песок на дне того же, третьего по счету снизу, родника. Потом раздвинул кусты, выбрался на косогор и теперь пошел прямо по гребню вершины, не спускаясь в овраг; он знал — сейчас темно, никто не увидит его.

Внизу горели огни станционного поселка.

Всю дорогу, пока он шел по гребню, и затем, когда шагал по улице поселка, придерживаясь теневой стороны, и когда сидел на вокзале — с ночным поездом должна была приехать сестра во Христе Екатерина Супрунова, и он пришел встретить ее,— когда сидел на вокзале, забившись в дальний темный уголок, к окну, под фикусы, все те же тягостные воспоминания, нахлынувшие у родника, ни на минуту не покидали его. Прожитая жизнь, как лента, раскручивалась перед глазами, и были на этой ленте красные, белые и черные пятна; больше черных, как платки молящихся женщин.

«Господи, избави мя от многих лютых воспоминаний и предприятий...»

Могила старца Филиппа — за околицей Афимовки, большого алтайского села, заросшая лебедой и полынью, осевшая, никем не ухоженная; на эту могилу водила его, Григория, десятилетнего мальчика, тетка Мария, злая, ненавистная и грубая тетка; она заставляла опускаться на колени и читать молитвы об усопших: «Помяни, господи, от жития сего отошедших...» — и сама крестилась, билась головой о траву и рыдала, а по вечерам, когда собирались

в доме верующие, зажигала лампадки перед иконой божьей матери (как раз с этой иконы и сорвал потом Каширин серебряную ризу), и опять начиналось пение и коленопреклонение. Мальчик Григорий, сирота, божий человек, как называли его собиравшиеся старухи, должен был прислуживать тетке Марии на бдениях. Эти годы запомнились Каширину как бесконечное колебание черных сгорбленных старушечьих спин, темные силуэты крестов на афимовском кладбище и приношения, которые молящиеся оставляли на столе после ухода. Вот они, чуть развернутые узелки с хлебом, салом, яйцами; тетка ворчала, когда узелков было мало; ее лицо с одутловатыми щеками, пухлыми веками и коротким гладким лбом — оно даже во сне снилось Григорию, это всегда злое, отпугивающее, совсем не смиренное лицо тетки. Раз в месяц она водила его к «болящему человеку». Ходили ночью, по-за огородами, крадучись; на самом краю Афимовки, в избе юродивой старухи Марковны, в подполье, завернутый в лохмотья и тряпье, лежал этот «болящий человек». Грохот дверного засова, скрип лестницы, ведущей в подполье, сырой, могильный запах земли — все это вызывало озноб в худеньком теле Григория; каждый раз он шел к «болящему человеку», как на казнь, и сидел перед грудой лохмотьев, перед заросшим и бледным как мертвец «святým», съежившись в комочек, дрожа от сырости и страха; там он впервые услышал об истинной православной церкви, там впервые в его детской душе возникли противоречивые мысли — зачем эти моления и лохмотья, сырые подполья и ночные бдения, когда есть солнце, есть трава, птицы, люди, его сверстники, мальчишки, шумно играющие на поляне в лапту?

«Смирись!»

«Смирись!»

«Смирись!»

Твердила тетка утром и вечером; внушал при встречах «болящий человек». И Григорий смирялся, читал евангелие, заучивал псалмы и молитвы; он был такой же худой и бледный, как и «болящий человек», и видел солнце только сквозь задернутое цветной ситцевой шторкой окно. Он не знал тогда, что и тетка Мария и тот «болящий человек», бывший белогвардейский офицер, анненковский каратель, возглавляли общину последователей истинной православной церкви, не знал, что есть такие общины, — бог един, и он молился единому богу; не

знал Григорий, что «болящий человек» вовсе не был болящим и воздержанным, вовсе не отреченно, не по-монашески жил этот злобствующий и стареющий «святой», а неделями кутил с теткой Марией, кутил тайком от верующих и даже не в подполье, а в комнате — Каширин позднее сам видел это сквозь щель в ставне; и еще не знал тогда Григорий, запуганный божьими карами, что эти люди готовили из него проповедника, радетеля веры, миссионера, и потому — показали отобранный отцовский дом, потому — напоминали о былом достатке и «убиенных» родителей.

Сейчас, когда Каширина самого стали называть монахом, святым отцом Григорием, когда в его жизни все определено и намечено, сейчас, перебирая в памяти прошедшие годы, он с ненавистью думал и о тетке Марии, и о «болящем человеке», которого давно уже не было в живых, — его похоронили рядом со старцем Филиппом на афимовском кладбище; это они, тетка и «болящий человек», сделали его, Каширина, таким двойственно злым: злым на власть, на колхозы и злым на молящихся старцев, на скитских иноков, безжалостно отобравших у него детство. Он мстил старцам, кощунствуя над церковными писаниями, завещанными ему «болящим человеком», и мстил людям, вовлекая их в секту, вовлекая и старых и молодых, обманутых, обиженных, слабых, чтобы собирать с них пожертвования и жить самому за счет этих пожертвований.

Тихий говор пассажиров в станционном зале ожидания не мешал ему размышлять; он никого не видел и ничего не слышал, погруженный в свои думы; у окна, за большими зелеными листьями фикусов, было спокойно и уютно. Он думал сейчас о последней встрече и разговоре с «болящим человеком». Было это давно, в третью послевоенную зиму. Ночной ветер взвизгивал и гнал поземку по улице, мрачно глядели из-под белых крыш и сугробов черные, закрытые ставнями окна деревенских изб; Григорий шел вместе с теткой Марией навстречу холодному ветру и колючей поземке на край села, к дому юрдивой старухи Марковны. В комнате было тепло, «болящий» лежал на кровати, накрытой белым покрывалом, у изголовья и ног его горели свечи; две старухи, всхлипывая, читали заупокойную. Пламя свечей колебалось, и в этом колеблющемся полумраке все казалось неестественно большим и расплывчатым: и головы читающих старух, и особенно их раскачивающиеся тени на стенах, и крест с изображением распятого Христа

на груди умирающего, и особенно лицо, восковое, без единого движения, и закрытые провалившиеся глаза. Все смолкли, едва тетка Мария и он, Григорий — ему тогда было шестнадцать лет, — переступили порог. «Болящий человек» открыл глаза и попросил всех удалиться. Григорий один остался с умирающим в комнате, так хотел «болящий человек».

— Подойди ближе, сын мой, — проговорил он. — Тебе завещано говорить народу устами бога, и я благословляю тебя на это. Да воздастся тебе сторицей за благие деяния твои. — Глаза старца сверкнули. Каширин хорошо запомнил, как озлобленно и с какой ненавистью сверкнули его глаза; потом умирающий поманил Григория поближе и снова заговорил: — Пролитие крови да поплатятся своею! Поклянись перед господом, что не отступишься от веры и пронесешь истину в грядущее, дабы знали правнуки жития и мучения отцов своих. Клянись и целуй крест.

— Клянусь тебе, господи!

— А теперь позови женщин.

Когда вошли старухи, «болящий человек» трижды перекрестил стоявшего на коленях у кровати Григория и, напругая силы, как можно громче произнес:

— Святой, истинно святой, молитесь и преклоняйтесь перед ним.

К утру «болящий» умер.

О клятве богу Каширин всегда вспоминал с усмешкой; и сейчас, сидя у окна за фикусами, он усмехнулся, мысленно повторив: «Клянусь тебе, господи!» Листок фикуса слегка покачивался почти перед самым лицом, и Каширин хорошо видел на нем и тонкие белые жилки, и белесую, как мучной налет, станционную пыль — он дышал, пыль слетала, незаметно растворяясь в душном воздухе зала оживания, и листок светлел, словно оживал у него на глазах; листок оживал так же, как оживали воспоминания в воображении Каширина — и те далекие дни детства в Афимовке, когда он обмывал ноги тетке Марии и заучивал псалмы и молитвы, и афимовский молитвенный дом, в котором он стал потом главным служителем, и затем суд, лагерные годы — это особенно гнетуще действовало на него сейчас и озлобляло, — и еще совсем недавнее прошлое, вернее, то, что было вчера, позавчера, три и пять дней назад, когда после освобождения из заключения он приехал в Пяти-трубинск и впервые встретился в доме старухи Алферовой

со здешними верующими. Службы не было; он просто беседовал с ними, потому что — надо же было ему сколачивать на новом месте общину, и он просто выведывал, много ли в Пятитрубинске верующих, кто они и не «забыли ли бога». О себе он сказал лишь, что приехал из Сибири, что «страдал» за веру и что был рад принять это «мученичество». Перед взором Каширина сейчас вновь всплыли удивленные и умиленные лица пятитрубинских верующих женщин; впереди всех сидела хозяйка дома Алферова, рядом с ней — старуха Тельнягина, и Григорий особенно хорошо запомнил их сияющие глаза; они смотрели так доверчиво, и во взглядах их было столько торжественности, — «наконец-то всевышний вспомнил и о них и прислал им на «вящую радость» святого отца!», — что Каширин даже немного смутился; он старался не смотреть на них, когда отвечал на вопросы.

«Теперь церковь открывать, или как?»

«Откроем, но только богу известную и нам».

«Это как же?»

«Господь подскажет и указывает».

«А в Калачинске, так там и в колокола к обедне, и все чин по чину».

«Колокола те не богу звонят, а антихристу. Бог нынче покинул те храмы, оттого и пошли они на раззор. А почему покинул? Потому что истинной веры не блюдут там».

«Вона-а...»

Каширин снова скептически скривил губы, вспомнив и это «вона-а» и то, как и что сам говорил, как при этом неторопливо крестился и шептал молитвы; он ничего не сказал им, какую общину хочет собрать здесь, в Пятитрубинске, что это будет за община, — перед ним сидели верующие, и хотя это были пока лишь одни старухи, но он знал, что вслед за старухами придут и помоложе и совсем молодые, потому что в каждом городе среди сотен тысяч людей всегда найдется несколько десятков недовольных, оскорбленных и несчастных, и им нужно сочувствие и утешение; они найдут у него, «монаха» и «святого отца», и «сочувствие» и «утешение».

«Найдут!..»

— Можно? Не занято?

Каширин вздрогнул от неожиданности и удивленно

взглянул на человека в легком сером демисезонном пальто и фетровой серой шляпе; незнакомец собирался сесть рядом и газетой смахивал крошки со скамьи.

— Можно?

— Садитесь,— равнодушно ответил Каширин, будто ему действительно было все равно, сидит ли кто рядом или нет; однако незаметно для непрошеного соседа окинул взглядом зал ожидания — нет ли где более уединенного и спокойного уголка?

Между тем, расположившись поудобнее на скамье и сняв шляпу, человек в сером демисезонном пальто снова заговорил, обращаясь к Каширину:

— Здешний?

— Нет.

— Я тоже приезжий. Недавно. Перевели, знаете ли. А сегодня,—он достал носовой платок, вытер им щеки, лоб, шею, хотя ни лицо, ни шея не были потными, потом свернул платочек так же аккуратно, уголок в уголок, спрятал в карман и только после этого продолжил: — Сегодня жену встречаю. Едет,— он взглянул на часы.— Едет... А Пяти-трубинск — вы не находите? — странный городишко. Одна улица на тридцать верст. Страшно неудобно: первый кордон, второй кордон, третий кордон... И названия-то совсем не городские. Город и кордоны, представьте себе, не сразу укладывается в голове. Клуб на первом кордоне, там, можно сказать, центр, а что прикажете делать людям с третьего? А ну пошагай тридцать верст из конца в конец!..

Он говорил громко и возбужденно, то и дело вставлял обращения: «Как вы находите? Как вы считаете?» — и Каширин, которому совсем не хотелось поддерживать беседу с этим неожиданно подсевшим гражданином, вынужден был так или иначе что-то отвечать — либо соглашаться, либо отрицать; Каширин предпочел соглашаться, так было проще, удобнее; он даже не произносил «да», а просто кивал головой. Между тем он тоже, когда первый раз, еще до ареста, приезжал в Пяти-трубинск, с удивлением смотрел на вытянутый вдоль большого ущелья город; но теперь, когда познакомился ближе, когда подыскал домик на третьем кордоне, вдали от центра, от «начальственных глаз», — домик для моления, — решил, что такое расположение даже удобно. Удобно для него.

— Универмаг на первом, гастроном на первом, представьте себе...

- Да, да.
- Город как рыба: голова и хвост...
- Да, да.
- А сообщение какое?..
- Да.

Сначала Каширин только искоса поглядывал на оживленно говорившего соседа, но потом заметил, что и лицо собеседника, полное, гладкое, и его манера беспрерывно вытирать шею, лоб, щеки носовым платком напоминают что-то очень знакомое; пригляделся внимательнее — действительно, этого человека он уже где-то видел, но где именно? Каширин принялся перебирать в памяти разные встречи. Полными были начальник лагеря, где он отбывал наказание, и начальник конвоя; и еще — общественный обвинитель на суде; он тоже беспрерывно вытирал шею и лоб носовым платком, говорил возбужденно, с хрипотцой в голосе; Каширин сразу вспомнил и зал суда, до отказа набитый людьми, конвоира за спиной, судей за красным столом, прокурора и общественного обвинителя, этого самого человека в сером демисезонном пальто, который сидел сейчас рядом и назойливо рассуждал о планировке города.

«Он!»

Между тем и собеседник — это был лектор горкома Иван Евдокимович Шевелев — тоже все пристальнее и пристальнее всматривался в лицо Каширина и наконец, неожиданно оборвав на середине очередное свое высказывание о нелепом градостроительстве, кстати, относящееся не только к Пятитрубинску, — оборвав себя на полуслове, неожиданно сказал:

- Я вас где-то видел.
- Вы не могли меня видеть, — возразил Каширин, не поворачивая головы и не глядя на собеседника.
- Видел.
- Хм.
- Вы были под судом? Вы — монах Григорий.
- Ошибаетесь, гражданин.
- Возможно. Тому дали девять лет, и если он еще не амнистирован, то должен сидеть.

На это Каширин ничего не ответил. Встал и молча, не останавливаясь и не оглядываясь, направился через весь зал к выходу; он знал, что этот назойливый собеседник, бывший общественный обвинитель, смотрит сейчас ему в спину; Каширин чувствовал на себе его сверлящий взгляд

и невольно сутулился, наклонял голову; даже очутившись на привокзальной площади, не очень освещенной, не очень людной в этот поздний вечерний час, долго еще не мог отделаться от неприятного ощущения; он был уверен, что здесь, в городе, его, святого отца Григория, никто не знает, кроме тех двух-трех религиозных старух, кому это положено знать, перед кем он не собирался скрывать ни свое прошлое, ни свою будущую деятельность как наставника, как святого отца, и вот — эта неожиданная встреча в зале ожидания. Поеживаясь от ночной прохлады, время от времени потирая зябнувшие руки, Каширин прохаживался взад-вперед по утопанному песчаному тротуару вдоль уже закрытых станционных ларьков, проклиная назойливого собеседника, станцию, зал ожидания, поезд, в котором ехала Екатерина и который уже опаздывал более чем на два часа, и еще думал о том, что теперь придется предпринять кое-какие меры предосторожности, может быть, даже не получать паспорт, чтобы никто — главное, тот самый «собеседник» — из пятитрубинцев и не подозревал, что в городе проживает освободившийся из заключения монах Каширин.

глава вторая

Когда поезд остановился, Каширин был на перроне; но он не сразу подошел к вагону, в котором ехала Екатерина; он сперва стоял в тени, под часами, рядом с висевшим на стене вокзальным колоколом, и смотрел, как толпа прибывших и встречающих постепенно заполняла перрон; только когда людской поток хлынул к выходу, неторопливо и осторожно двинулся навстречу этому потоку к седьмому вагону.

Екатерина ждала в купе. Она стояла одна у окна. Ехавшие с ней пассажиры уже попрощались и вышли.

— Как доехала? — спросил Каширин, отдернув дверь и войдя в купе. Он сказал это негромко, сухо и, лишь мельком взглянув на Екатерину, тут же принялся стаскивать с полок ее вещи. Но и этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы заметить, как хороша эта тридцатилетняя женщина в накинута на голову темном платке, — она порывисто повернулась, платок соскользнул на плечи и обнажил густые, заплетенные в косу и уложенные на затылке волосы.

— Спасибо, Гриша,— так же негромко ответила Екатерина, и хотя Каширин, снимавший с полок чемоданы, не видел, как в эту секунду дрогнули в улыбке ее полные розовые губы, все же сразу уловил тот ласковый тон, каким она произнесла «Гриша».— Спасибо, хорошо доехала.

— Все привезла?

— Все.

— И свечи?

— И свечи. Ты не рад? — Она слегка протянула вперед руки, готовясь обнять.

— Потом, потом. Бери чемоданы.

— Что-нибудь случилось?

— Потом, потом.

— О господи!

Они молча пересекли станционную площадь; потом так же молча шли по теневой стороне улицы; было около двенадцати ночи, тротуары пустынные, никто не встречался, никто не оборачивался и не смотрел ни на Супрунову, ни на Каширина, и эта тишина улиц, полумрак, это покорное молчание Екатерины, шагавшей следом, радовали монаха; он думал о том, что вот она приехала по его зову в Пяти-трубинск, послушная, смиренная, шагает сейчас, может быть, даже след в след за ним по бетонным плитам тротуара и будет шагать за ним так же по жизни — единственная радость, поддержка, опора; он улыбался в темноте, хорошо зная, что никто не увидит его радостную улыбку, даже Екатерина (он считал, что с ней всегда надо быть построже, тогда — больше боязни и уважения), и к нему мало-помалу возвращалось то спокойствие, то хорошее настроение, с каким он вечером пришел на вокзал, в зал ожидания. Теперь и встреча с Иваном Евдокимовичем Шевелевым, бывшим общественным обвинителем, представлялась ему совсем иначе, просто как небольшое и не очень значительное событие в цепи прочих за минувший день,— собственно, он дал понять общественному обвинителю, что тот ошибся; главное теперь — больше никогда не попадаться ему на глаза, не встречаться с ним, вот и все. Каширин останавливался, перебрасывал с плеча на плечо чемодан и снова шагал размеренно и спокойно; кованные каблуки ботинок ровно стучали о бетонные плиты тротуара; он нес самый тяжелый чемодан, в котором лежали церковные книги, тетради с проповедями и молитвами, исписанные от руки, иконы, свечи, кресты и крестики, все то, когда-то завещанное «боля-

щим человеком» и переданное потом Каширину, монаху и святому отцу, что было необходимо для оборудования церкви, вернее, молитвенной комнаты и его монашеской кельи. На свое монашество он смотрел как на профессию, как на ремесло, которое приносит определенный доход, дает пищу, хлеб и даже моральное удовлетворение; именно — моральное удовлетворение для него, потому что только здесь, через церковную проповедь, можно открыто выражать свою ненависть и обиду. Каширин нес чемодан с иконами и церковными книгами, как носят ремесленники свои инструменты, отправляясь точить ножи, чинить примусы или вставлять стекла в разбитые окна, с тем же чувством важности и предвкушением приличной оплаты; может быть, потому, что он больше привык к уединению, чем к людской толчее, он наслаждался спокойствием и тишиной ночной улицы; сейчас он был особенно уверен в себе, и будущее не представлялось ему мрачным, однообразным, непроглядным, как иногда в тоскливые часы раздумий, напротив, ему казалось, что наконец-то судьба повернулась к нему лицом, наконец-то кончились мытарства и он заживет спокойно, размеренно, не торопясь, не жадничая; когда-то он завидовал «болящему человеку»; сейчас, мысленно представив себя и Екатерину сначала на служении перед коленопреклоненной толпой, потом, ночью, на супружеском ложе, — мысленно представив эту уже почти осуществившуюся мечту: жить по образу и подобию «болящего человека» (ведь Екатерина согласилась на все, что предложил ей Каширин, потому и приехала; ее согласие в письме, которое лежит в нагрудном кармане пиджака), — с той же завистью и теперь с удовольствием подумал о себе; он даже на мгновение поверил, что есть все-таки бог, что молитвы слышаны и потому — эта открывшаяся перед ним благодать; он прислушивался к тишине и больше к тому, что совершалось в нем самом, — ему казалось, что происходит какое-то обновление в его душе, и это еще больше радовало и поднимало настроение. Он опять подумал, что, наверное, все же есть где-то этот вссвышний, всеслышащий и всевидящий. «Господи, многою твоею благодатью и великими щедротами твоими дал еси мне, рабу твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти, зла и оградил миром житие мое в православии и во всяком благочестии и честности», — мысленно повторил он вспомнившиеся слова молитвы; но ни эта молитва, ни размышления о всевышнем, на минуту

охватившие сознание, не могли затмить в его мыслях то главное, что, собственно, и было причиной приподнятого настроения,— приезд Екатерины; теперь, в темноте, останавливаясь и перекладывая с плеча на плечо тяжелый чемодан с иконами и книгами, он искоса поглядывал на Екатерину; он не видел ни ее лица, ни глаз, ни рук, белых, пухлых, немного холеных мещанских рук, а только темный силуэт, только очертания женской фигуры, грудь, бедра, и каждый раз в нем вспыхивала та неодолимая страсть, естественная, человеческая, то влечение, от которого он никогда в жизни не смог бы добровольно отказаться; он не верил в непогрешимость монашеской жизни, потому что знал, как жил «болящий человек»; он бы немедленно сорвал с себя и выбросил монашеские четки, если бы они хоть сколько-нибудь, хоть на мгновение стеснили его в чувствах и мыслях; и еще он оправдывал себя тем, что даже библейские патриархи жили далеко не безгрешной жизнью, хотя бы тот же Авраам с Саррой, которых голод погнал из земли Ханаанской в Египет...

Когда сбрасывали колокол и срывали железо с круглых церковных куполов — Екатерина не помнит; ей было тогда всего шесть месяцев от роду, лежала она в люльке, по-крестьянски подвешенной к потолку, и Марфа, тихая и безропотная наймичка, ночами до онемения рук качала эту люльку, успокаивая и усыпляя крикливое поповское чадо; не помнит Екатерина и тот день, когда ее отца, полного, краснощекого, чуть начавшего лысеть служителя церкви — попа стасовского прихода, — чекисты арестовали и увезли в город, арестовали за то, что он запретил своим бывшим прихожанам, стасовским мужикам, вступать в колхоз, пригрозил анафемой, а случай с комбедовцем Филимоновым, который, перекрывая свою избу как раз тем сорванным с церковных куполов железом, упал с крыши и разбился, — этот случай объявил «знаком божьим»; не помнит Екатерина и того, как однажды, не говоря никому ни слова, собралась и ушла из дому наймичка Марфа, как увели из конюшни лошадей, потом забрали корову, а потом отобрали и дом, лучший в Стасовке поповский дом, — составлявший протокол сельсоветский писарь, заглядывая в раскрытые сундуки и ощупывая пальцами пышные попадьихины комбинации, так сказал: «Ступай теперича, матушка Василиса,

к богу в рай, земной для тебя кончился», — но попадья не уходила, она стояла на крыльце, держа на руках маленькую Екатерину и тощий узелок с вещами, и рыдала; тот же сельсоветский писарь, когда опись отобранного имущества была окончена, сжалился и разрешил матушке Василисе поселиться на окраине Стасовки в заброшенной кем-то избушке, похожей скорее на землянку, чем на избушку, без амбара и дворовой ограды, без стекол в маленьких слеповатых оконцах, — нет, Екатерина не помнит ничего этого. Она так и не узнала, какой страшной, голодной и зябкой была первая зима, а еще страшнее — первая ночь, проведенная в этой пустой — ни топчана, ни стола — избушке; едва переступив порог, матушка Василиса рухнула на пол и в отчаянии, плача и причитая, ломала руки; она призвала смерть, и если бы не соседка, богомольная старушка, следившая за каждым шагом матушки, не было бы сейчас в живых ни Екатерины, ни этих тягостных дум и крест над могилой матери давно подгнил бы и потемнел от времени (матушка Василиса пережила те годы и умерла недавно, прошлой осенью, и деревянный крест у ее могилы на стасовском кладбище казался еще совсем новым — перед отъездом Екатерина ходила на кладбище прощаться), не было бы ни этих тревожных дум, ни ее самой, Екатерины, теперь покорно шагавшей по темным улицам горняцкого города следом за святым отцом Григорием. Она думала сейчас о прошлом потому, что человек не может, дойдя до определенного рубежа, не оглянувшись, шагать дальше; и хотя у нее ничего отрадного и примечательного не было в прошлом и не предвиделось в будущем — молитвы, бдения, щедрые и нещедрые пожертвования верующих, лепка свечей по вечерам и еще ложно-супружеское счастье с монахом; хотя между тем, как она жила в Стасовке, и тем, что ожидало ее здесь, в Пятитрубинске, разница была очень и очень незначительной, но все же была, было новое, пусть просто дом, улица, соседи — именно потому Екатерине тоже хотелось остановиться и оглянуться на прожитые годы. Она вспоминала не все, а лишь то, что с годами все больше и сильнее волновало ее. Избушка, которая и сейчас стоит на окраине деревни, та самая избушка, подновленная, обжитая, распаханный огород, сбегаящий к оврагу, и кладбище за оврагом, кресты, кресты, большие, маленькие, темные и древние, как иконы, и свежие, белеющие строгаными боками, точь-в-точь как на могиле матери, тропинка через

кладбище к лесу, к грибным полянам, и оттуда, с лесной опушки, раскинувшаяся на версты Стасовка — все это сейчас представлялось в воображении и отдаленным и близким; Екатерина как бы разом, одним взглядом, охватывала всю эту с детства врезавшуюся в память и знакомую до боли картину и в то же время видела ее в частности, в деталях, каждый штрих в отдельности; словно в детстве, словно в те далекие годы сквозь раздвинутые ветви берез смотрела она с лесной опушки на отстроенную кирпичную школу в центре деревни — она четыре года проучилась в этой школе и ушла, бросила, потому что ее дразнили поповной, смеялись над ее привычкой молиться перед тем, как съесть школьный завтрак; когда повзрослела, стали говорить ей: «Мать твоя бабчит, и ты будешь бабчить. Бабчить, бабчить!..» Сначала просто было обидно слышать это непривычное слово, но потом, когда Екатерина узнала, что оно обозначает, когда однажды сама увидела, как мать, заведя в повивальню — специально отведенный небольшой чуланчик с входом из кухни — незнакомую женщину, орудовала над ней вязальными спицами и как затем исколотое и окровавленное, еще не оформившееся тельце закопала во дворе, за сараем, — когда все это открылось Екатерине, она ужаснулась, хотела убежать из дому, но не убежала, а, напротив, закрылась в комнате и не выходила из нее, как затворница, боясь взглянуть людям в глаза. В эти дни она выучила десятки новых молитв; она стала затворницей, замкнутой и молчаливой, и спустя год, два, три по-прежнему не выходила на улицу, а если и разговаривала с кем, так только с богомольными старухами, все еще посещавшими дом бывшей попадьи, матушки Василисы; Екатерина так и не смирилась с тем, что мать ее бабчит, и молилась, чтобы не проговориться и не показать место за сараем — маленькое кладбище — сельсоветской комиссии (разные слухи ходили по деревне о повивальных делах попадьи, и потому несколько раз приходила сельсоветская комиссия); она так и не смогла привыкнуть к слову «бабчить»; не смогла привыкнуть и к другому, менее обидному: «повитуха», как еще иногда называли ее мать. «Повитуха!..» Но мать была не той повитухой, которая помогает роженицам, дарует младенцам жизнь, а той, которая убивает жизнь в зачатии; их было много, трупиков, похороненных во дворе, за сараем; это маленькое кладбище, на котором Екатерина всегда мысленно расставляла кресты,

и то большое, начинавшееся в конце огорода, сразу за оврагом, — и тогда, в детстве, и теперь, когда она стала взрослой, эти два кладбища вызывали в ней странное ощущение какой-то неосознанной вины; когда она, становясь на колени и крестясь и шепча молитвы, произносила: «Помилуй мя, грешную», ей казалось, что ее грех именно в том и состоит, что она могла и не смогла уберечь от смерти тех, закопанных на одном и на другом кладбищах. Именно тем и грешны люди, что не предотвращают смерть ближних, а, напротив, каждым помыслом, каждым действием приближают ее — так по крайней мере представлялось Екатерине; она и сейчас, вглядываясь в темноту улицы и видя перед собой покачивающийся силуэт Каширина, видя этот силуэт и вспоминая о кладбищах, снова испытывала то же чувство вины; оно было сильнее, чем прежде, и больше угнетало ее сейчас, потому что все, что они — монах Каширин и она, Екатерина, — собирались делать в Пятитрубинске, было не исправлением, не «замаливанием грехов», не той всегда только мерещившейся справедливостью, а чем-то иным, нехорошим и гадким, чему она не могла, вернее, боялась найти определение. Ее угнетало еще и то, что она не могла ничего изменить в своей жизни, и не потому, что не хватало решимости — в ней, как и в Каширине, жила и теплилась, растравляя душу, та же с кровью впитанная ненависть к людям, арестовавшим отца, отобравшим дом, заставившим — так она думала и была уверена в этом, — заставившим мать бабчить, чтобы кормиться. Эту мысль сперва внушала ей сама мать, молясь, жалуясь, ненавидя; потом о том же самом, о ненависти к властям, постоянно твердил первый ее муж, дьячок, с которым она обвенчалась, но давно уже не жила, потому что тот без просыпу пил и днем и ночью и дрался; потом внушал ей все ту же ненависть Каширин, этот говорил гневно, с холодной и беспощадной озлобленностью; мать, матушка Василиса, искала утешения в молитвах и учила этому Екатерину; дьячок, напротив, сомневался, что есть бог, иначе — почему он допустил всеобщее разорение церкви? — и убеждал в своих сомнениях Екатерину; Каширин же определенно говорил, что нет ни бога, ни черта, а есть человек, утверждающий на земле свое «я»; каждый утверждает «я» по-своему, и он, Каширин, по-своему. Екатерина только прислушивалась ко всему этому; она не могла решить сама, что правильно и что ложно; все ей поочередно представлялось верным: и

убеждения матери, и доводы дьячка, и мысли Каширина; она верила то одному, то другому, то третьему — каждый раз больше тому, с кем была ближе, теснее связана; она еще видела, что тысячи людей вокруг живут совсем иначе, чем она, чем Каширин и тот дьячок, бывший муж, который гонялся за ней с топором и от которого она убежала почти в одной рубашке, — тысячи людей вокруг живут совсем иначе, и это только вносило смятение в ее душу; но жизнь Каширина чем-то напоминала жизнь ее матери, была привычней, а его ненависть и резкость, его высказывания и образ мыслей понятней и ближе, и потому Екатерина тянулась к нему, монаху, святому отцу, вполне сознавая и греховность своих помыслов — жить с монахом! — и не в силах отказаться и что-либо изменить. Сейчас, шагая за Кашириным по темным улицам Пятитрубинска, она лишь мельком вспомнила о дьячке, как тот приехал первый раз в Стасовку и вместе с матушкой пил чай у раскрытого окна — тогда была весна, цвела сирень, и ее цветы, душистые, свежие, омытые росой, почти лежали на подоконнике; дьячок пил вприкуску с сахаром, высоко поднимая над столом блюдо, отдувался, поглядывал на сирень и то и дело произносил: «Славио ты живешь, матушка Василиса, славно!» — но Екатерина хорошо запомнила, что смотрел он больше не на цветы сирени, а на нее, сидевшую у подоконника; теперь, спустя столько лет, она вспомнила именно эту маленькую подробность и подумала, что она хотя и не знала тогда ничего о намерениях дьячка, рыжебородого и казавшегося старым — он был почти на пятнадцать лет старше ее — служителя божьего, но сразу догадалась по его взгляду, чего он хочет, и не ошиблась: потом было сватовство, уговоры, слезы, венчание и печальное возвращение домой; есть у человека предчувствие, и оно всегда верно; она еще подумала сейчас, что дьячок смотрел на ее грудь, и особенно на ноги, когда она выходила на кухню, чтобы принести что-нибудь к столу... Каширин появился в Стасовке так же неожиданно, как и дьячок; но матушка Василиса, очевидно, была предупреждена о его приезде — позднее Екатерина точно узнала об этом — и потому встретила радушно; так же пили чай, за тем же столом, только сирень не цвела, и серая, поднятая грузовиками пыль седеной лежала на листьях; и все же встреча с Кашириным была приятней и запомнилась сильнее, потому что он был молод, опрятен, чист, и хотя матушка уже тогда называла

его святым отцом, он не был похож ни на одного из тех церковных служителей, которых Екатерине приходилось видеть до этого. Вспоминая теперь об этой первой с ним встрече, она вспоминала не о том, как сидели за столом и пили чай; другие картины вставали в воображении: ночь, узкая полоска лунного света на стене, бьющего сквозь щель в ставне, тихий храп матушки и огромная фигура Каширина, склоненная над ее, Екатерины, кроватью.

«Господи!»

«Тише».

«Уходите, буду кричать!»

«Тише. Господь сказал: дева днесь пресущественного рождает, а земля вертеп неприступному приносит...»

«Уходите!»

«Я видел ваши глаза, Катя».

«Господи! Господи!»

«Я не обманулся, я видел ваши глаза...»

Эти слова и то, как он шептал их, опустившись на колени, и то, в чем был одет — белой нательной рубашке, — и серебряный крестик на волосатой груди — все это Екатерина представляла себе сейчас так же отчетливо, как в ту ночь, в Стасовке; ей казалось, что она тогда даже слышала, как пробирался Каширин по комнате к ее кровати, ступая на голые, некрашенные половицы босыми ногами... Через месяц он приехал снова и привез чемодан с церковными книгами и иконами, тот самый чемодан, большой, тяжелый, который нес теперь сгибаясь, останавливаясь и перекидывая с плеча на плечо; он хотел обосноваться в Стасовке и обещал приехать в третий раз, уже навсегда, но его арестовали, осудили и отправили в лагерь. Екатерина узнала об этом только спустя почти год.

Она остановилась, и, пока поправляла скатившийся на плечи платок, черная расплывчатая фигура шагнувшего впереди Каширина совсем слилась с густой темнотой ночной улицы.

Чемодан поставили возле двери, к стене; потом несколько секунд стояли у порога, разглядывая комнату; Екатерина смотрела с удивлением, потому что видела впервые этот купленный для нее Кашириным дом, разумеется, за ее же деньги; но ее больше удивляла не сама комната, широкая, просторная, в которой ей теперь предстояло прожить, мо-

жет быть, до конца жизни, и не уютная белизна стен, сразу же бросившаяся в глаза,— удивило другое: то, что все здесь было аккуратно убрано, на окнах висели тюлевые шторы, на кровати высились взбитые подушки и накрыта она была новым светло-голубым покрывалом; но главное, что заметила Екатерина, обводя взглядом комнату, и что особенно поразило ее,— это полочки, большие и маленькие, приделанные к стене в переднем углу; она сразу же догадалась, для чего эти полочки, любовно выкрашенные белой краской,— для икон, свечей и лампадок, сразу же догадалась и потому, повернувшись к Каширину, понимающе и благодарно улыбнулась.

Вполне удовлетворившись тем, какое впечатление произвела его работа на Екатерину, Каширин вышел из комнаты; надо было проверить, заперта ли калитка, и закрыть ставни. Он прошел через сенцы на ощупь, не зажигая света; так же на ощупь открыл дверь, потом на ощупь проверил засов — калитка была заперта; то радостное возбуждение, охватившее его еще дорогой, когда они шли с вокзала сюда, к дому, те мысли, успокаивающие и обнадеживающие — наконец-то он заживет размеренно, не торопясь и не жадничая на жизнь,— теперь новой волной нахлынули на него; он улыбался своим мыслям, медленно шагая в темноте по двору и машинально вытянув вперед руку, чтобы не наткнуться на что-нибудь; хотя он в комнате, пока Екатерина разглядывала полочки, успел хорошо рассмотреть ее — и лицо, и белую шею, потому что она сняла с головы платок и держала его в руках, и волосы, густые, русые, заплетенные в косу и по-крестьянски уложенные на затылке, что особенно нравилось Каширину, что он заметил еще в вагоне и еще тогда решил, что это Екатерина сделала так для него, желая угодить и понравиться,— хотя он успел хорошо рассмотреть ее, но теперь, продолжая думать о ней, видел перед собой лишь силуэт женской фигуры, и даже не ее фигуры, не теперешней Екатерины, немного пополневшей, медлительной и неторопливой в движениях, а той, более стройной и женственной, какой он видел ее пять с лишним лет назад, запомнил и хранил в памяти все эти годы, какой грезилась она ему в мучительные лагерные ночи. «Боже, нет искушения сильнее, чем страсть...» Он захлопывал ставни; у последнего окна на секунду остановился и заглянул в комнату — Екатерина все так же стояла у окна, держа платок в руках, и так же понимающе и благодарно

улыбалась; сквозь стекло и густую вязь тюлевых занавесок в сумеречной синеве комнаты — над лампой висел темно-голубой абажур — она показалась Каширину особенно привлекательной; она стояла так, что полноты ее не было заметно, и высокая грудь только подчеркивала бывшую стройность ее фигуры — прежняя, в точности та, грезившаяся все эти годы; Каширин, потому что никто не мог видеть его лица, смотрел жадно, прильнув к стеклу; он мысленно раздевал ее, сквозь платье угадывая контуры ее тела, и весь вздрагивал от ощущения близости той минуты, когда ляжет с нею в постель. Много у него было задумано на сегодняшний вечер: он намеревался показать Екатерине подполье, вернее, свою будущую монашескую келью, где стояла железная кровать с матрацем и грубым суконным одеялом, где так же были приделаны в углу, к стене, большие и маленькие полочки для икон — это на случай, если кто-нибудь из верующих вдруг вздумает взглянуть, как живет святой отец Григорий; намеревался показать входы в келью: один — из сеней, другой, потайной, — прямо из комнаты: между окном и столом он пропилил половицы и сделал люк, который теперь был накрыт домотканой дорожкой; хотел рассказать, как он подготовил «чудо» на родниках и как это «чудо» должно скоро открыться пятитрубинским верующим; и еще рассказать, что кое-кто из верующих в Пятитрубинске уже знает о нем, святом отце Григории, потому что он поведал о себе Алферовой, доброй одинокой верующей старушке, у которой читал тропари «во святую и великую неделю пасхи»; Каширин гордился этими своими первыми успехами, радовался им и потому с таким нетерпением хотел сразу же, в день приезда, выложить все Екатерине, но сейчас, глядя сквозь окно и тюлевую вязь на нее, все еще в нерешительности ожидавшую у порога, изменил свое решение. «Господи, прости согрешения мои милосердием твоим и человеколюбием», — прошептал Каширин и закрыл ставень; он сказал так не потому, что испрашивал разрешения у бога, а просто по привычке, потому что знал наизусть десятки разных молитв. По двору он уже шел торопливо; с той секунды, как закрыл ставень, он все делал торопливо: поставил чайник на электрическую плитку, собрал на стол и потом ходил взад-вперед по комнате, потирая руки; он уговаривал Екатерину поскорее ложиться в постель, потому что она, наверное, очень устала с дороги, и, когда наконец, потушив свет, она стала раздеваться, когда

в тишине комнаты слышался шелест сбрасываемой женской одежды, Каширин вздохнул и отвернулся лицом к двери.

глава третья

Спустя полтора месяца после той встречи на вокзале, в зале ожидания, когда Иван Евдокимович Шевелев узнал монаха Каширина,— между прочим, Иван Евдокимович тогда подумал, что он, может быть, действительно таки ошибся, потому что мало ли в жизни бывает очень похожих друг на друга людей,— спустя полтора месяца после той встречи, когда о ней уже было совершенно забыто, однажды в тихое воскресное летнее утро Иван Евдокимович, чувствуя себя особенно усталым и утомленным, решил сходить в горы прогуляться и отдохнуть. Кроме основной работы в городском комитете партии он еще по вечерам, а иногда и ночами напролет трудился над своими «Записками воинствующего атеиста»; он трудился над этими «Записками» уже седьмой или восьмой год, кропотливо собирая и обрабатывая материалы, вставляя и выбрасывая главы, и сейчас, когда дело явно подвигалось к концу, особенно спешил, надеясь еще в этом году отправить рукопись в издательство и наконец увидеть свое детище, свое творение изданной книгой. Он не был тщеславным, не авторство привлекало его, хотя все же не без гордости думал о том дне, когда увидит свое имя и фамилию на обложке толстой да еще к тому же хорошо оформленной книги, потому что если уж библию, к примеру, издают в коже и с золотым и серебряным тиснением, то атеистическое произведение тем более надо выпускать отменно — нет, не авторство привлекало его, он просто искренне верил, что людям нужно то, что он делал, и потому старался быть правдивым и честным; он добирался до истины сложным и трудным путем, жизненные факты были для него лишь той почвой, на которой он выращивал свое философское творение. Одна глава, которой Иван Евдокимович придавал важное значение, потому что в ней говорилось о людском равнодушии и последствиях этого равнодушия, особенно трудно удавалась ему; и вчера, весь субботний вечер, и сегодня, все воскресное утро, он просидел над этой главой, исписал около десяти страниц и сначала был доволен работой, но теперь, прогуливаясь по горной тропинке и вновь размышляя о написан-

ных страницах, с горечью думал, что опять у него получилось хуже, совсем не так, как он хотел бы, как это было нужно, и потому придется все переделывать. Он еще думал о том, как будет переделывать — прямо начнет с вопроса: «Почему люди, родившиеся и выросшие при Советской власти, становятся религиозными фанатиками?» Он называл сектантов фанатиками потому, что все их называли так и в горьком, и в областном комитете, и даже приезжавшие из центра лекторы — им ли не знать, что верно и что неверно! — но в глубине души Иван Евдокимович не был согласен с ними; сектанты — это не просто фанатично верующие в бога люди, особенно пресвитеры и проповедники, возглавляющие общины, сущность их не в вере, а в ненависти к советским законам, которую можно выражать, прикрываясь верой; Иван Евдокимович чувствовал, что где-то именно здесь кроется истина, но твердого убеждения не было; он знал, что чаще человека сгибает не горе, а людское равнодушие к его горю, и считал, что следует прямо-таки объявить всеобщий поход против этого человеческого порока — **р а в н о д у ш и я**; но он также знал, что сильного волей не может сломить ни горе, ни даже равнодушие, и тут снова возникал перед ним вопрос: что делает людей сильными? Он писал о воспитании и самовоспитании, внутреннем стремлении и колебался, что важнее; то отдавал предпочтение одному, то другому; но теперь ему казалось, что есть еще что-то третье, чего он не знает, чего не знают многие, по крайней мере все те, с кем он знаком, но что это **т р е т ь е** и является главным в формировании человеческого характера; только теперь он вдруг понял, почему с таким трудом удавалась ему начатая недавно предпоследняя и обобщающая глава «Записок». «Третье! Что же это третье?..» Размышляя так, разговаривая сам с собой, он медленно спускался по каменистой тропинке в лошину. Как раз по дну лощины, где была проложена проселочная колея — дорога к горным сенокосам, — двигались цепочкой люди. Иван Евдокимович заметил шествие, когда почти спустился на проселок; сперва он подумал, что это, может быть, несколько горняцких семей, возвращавшихся с воскресной прогулки — пятитрубинцы любят отдыхать в горах, — и зашагал было по заросшей колее вниз, к городу, но потом, обернувшись и взглянув еще раз, теперь внимательнее и пристальнее, увидел, что шли только одни женщины, большей частью пожилые, и еще пять-шесть ребята-

шек с ними, и каждый нес чем-то наполненные либо ведро, либо бидон — это показалось странным; он остановился и, все еще продолжая думать о главе и «Записках», но уже теряя нить размышлений, потому что необычное шествие нарядных женщин в темных платках и косынках вызывало новые мысли,— теперь уже настороженно посмотрел на них; десятки раз он видел разных верующих и в молитвенных домах, и в церквях, и просто на улице и мог сразу отличить их среди людской толпы, особенно верующих женщин, по выражению их лиц, скорбному, смиренному, по одежде, скромной и тусклой, и, главное, по тому, как они подвязывали платки, наглухо закрывая волосы и затягивая узелки под подбородками,— те, что шагали сейчас по проселку, потому и насторожили Ивана Евдокимовича, что сразу напомнили ему верующих. Вверху, откуда они шли, были родники. Когда Иван Евдокимович заметил, что в ведрах и бидонах, которые несли женщины, была вода, он уже не сомневался в своей догадке — не иначе родники объявили святыми! Он посторонился, пропуская вперед поравнявшуюся с ним невысокую и не очень полную женщину, выглядевшую, хотя ей и было около тридцати, еще совсем молодой, ее косо брошенный взгляд еще больше насторожил Ивана Евдокимовича, и он интуитивно почувствовал, что именно эта женщина — предводительница всему, религиозная наставница и пророчица, и впился глазами в ее прямую спину, стараясь приметить и запомнить ее; он не знал, да и не мог знать, что это была спутница и первая помощница того самого монаха Каширина, которого он видел несколько недель назад на вокзале, и что объявление родников святыми тоже было делом рук того же монаха,— в эти секунды, пока смотрел в спину уходившей пророчице, лишь мельком вспомнил о Каширине, и то больше не о нем, а о том случае, когда однажды встретил — это было на Алтае, в селе,— такое же шествие женщин с ведрами и бидончиками, только те направлялись за «святой водой».

Когда совсем недалеко от Ивана Евдокимовича, поставив ведро с водой на траву, остановилась старуха в черном платке и такой же черной с мелкими белыми горошинками кофте,— он решил подойти и поговорить с ней; лицо старухи, морщинистое, худое и даже немного уродливое, в то же время казалось добрым.

— Водичка-то святая небось, а?

— Святая, милый, святая, целебная.

— Чудо на рудниках было? Или еще что?

— Было, милый. Икона объявилась...

— Да не икона вовсе, а только риза с иконы, — немного разочарованно, как показалось Ивану Евдокимовичу, поправила другая старуха, помоложе и выше, тоже остановившись и поставив ведро с водой на землю. — Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое... — прошептала она и торопливо перекрестилась.

— Зачем столько-то, целое ведро? Хоть и святая, а поди тяжелая, — все так же шутливо продолжал Иван Евдокимович, обращаясь теперь уже к этой, только что подошедшей старухе.

— Заразом уж, каждый раз не находишься. А молодых не пошлешь, умничают. Господи, прости их души окаянные. — Она снова перекрестилась. — Пойдем, сестра, а то отстанем.

Старухи подняли ведра и, тяжело дыша и путаясь в длинных черных юбках, зашагали вниз по проселочной колее, догоняя шествие.

Иван Евдокимович — он стоял и смотрел вслед удалявшейся процессии — недоуменно пожал плечами; он вспомнил, как в рудничном партийном комитете, когда он предложил прочесть несколько лекций на атеистическую тему, ему ответили, что вряд ли в этом есть надобность, а секретарь парткома прямо заявил, что это, по меньшей мере, смешно — искать среди горняков верующих.

«Горняки в бога не верят!»

«Может быть, отдельные семьи...»

«Никаких отдельных!»

«Ну хотя бы одну лекцию. Для профилактики».

«Давайте лучше на международную. Во Франции шахтеры бастуют, вот это нам интересно».

Разговор этот состоялся не так давно, на той неделе, и потому Иван Евдокимович хорошо помнил о нем; он часто встречался с секретарем рудничного парткома и потому сейчас сразу представил себе его, высокого, подтянутого, всегда в сером костюме и больших круглых очках, придававших особенную серьезность его лицу; Иван Евдокимович подумал, как завтра удивится этот самый рудничный секретарь, когда услышит о «святых ключах» и шествии со «святой водой», а Иван Евдокимович обязательно прямо с утра пойдет на рудник и обо всем расскажет; и еще подумал, ухмыльнувшись при этом, что рудничный секретарь непре-

менно бросит реплику: «Какой вред от десятка верующих старух?» Многие говорят так, потому что ничего толком не знают ни о религии, ни о делах божьих служителей; это тоже — опасное равнодушие. Иван Евдокимович живо представил себе, как он возразит секретарю: «Позвольте!» — и потом расскажет, какой вред могут принести на вид безобидные верующие старухи, произнесет целую лекцию; и он, увлекшись этой мысленной полемикой с рудничным партийным вожаком и совсем не замечая, что все еще продолжает стоять и смотреть на уже опустевшую колею проселка — шествие скрылось за поворотом лошины, — выдвигал все новые и новые доводы, подтверждавшие необходимость острой и неотложной борьбы с сектантством; в эту минуту он чувствовал себя именно воинствующим атеистом; он пересказывал страницы своей еще не законченной книги; с гневом говорил, как однажды баптисты окрестили в ледяной иртышской воде больного туберкулезом юношу и как тот юноша вскоре умер, отказавшись от врачебной помощи лишь только потому, что братья во Христе так внушили ему: «Бог дал, бог и приберет». Десятки молитвенных домов, легальных и нелегальных, сотни алчных пресвитерских рук, часы, дни, месяцы, годы, проведенные в молениях, коленопреклонении и страхе, — эти дни и годы, безвозвратно потерянные, могли бы стать иными и принести людям радость созидания; а сети, расставленные сектантами, — значит, есть приманка, раз люди идут в общины, значит, есть что-то такое, что влечет их, оборачиваясь хоть на время истиной; Христос страдал за людей, люди страдают за веру — так по священному писанию; страдания — вот что находится отзыв в человеческих сердцах; но человек не должен страдать, не будет страдать, если ему вовремя помочь в беде. Иван Евдокимович встрепенулся: произнося эту мысленную тираду, он неожиданно для себя нашел еще один ключ к той загадке, о которой либо много говорят, либо совсем умалчивают, — чем иногда привлекает человека религия? «Созвучие настроений, страдания и страдания...» Постепенно он снова вернулся к тем своим размышлениям об участии и равнодушии людей к судьбам ближних, о чем он думал утром, отправляясь на прогулку в горы.

В доме было тихо, все спали, и только Иван Евдокимович сидел за письменным столом в своем домашнем каби-

нете; он то и дело макал ручку в чернильницу и подносил к белой бумаге, но в самый тот момент, когда нужно было выводить первую букву, вдруг останавливался и опять в нерешительности смотрел то на высохшее перо, то на чернильницу, то на стопку бумаги, прижатую ладонью к стеклу, и продолжал упорно искать ту нужную и все время ускользавшую — он никак не мог сосредоточиться — мысль, с которой он, садясь за стол, намеревался начать заново предпоследнюю главу «Записок»; минутами ему казалось, что он уже нашел ту третью истину, о которой думал в горах, но это ему только так казалось, потому что не поиски истины больше занимали его сейчас, а иное — он все время возвращался мыслью к процессии со «святой водой», двум старухам и пророчице, выступавшей впереди, полногрудой, румяной, надменно и косо, не поворачивая головы, взглянувшей на него, Ивана Евдокимовича, молча уступившего ей дорогу; именно потому, что он думал о ней, видя в ней теперь не только пророчицу, вернее, не столько пророчицу, как женщину с теми завидными чертами устоявшейся крестьянской красоты, дородности, здоровья, — он даже заметил, как бугрилась ее темная косынка над валиком уложенных на затылке волос, — с теми завидными чертами устоявшейся крестьянской красоты, которые представлялись ему совершенством и всегда волновали его воображение; он даже почувствовал некоторое влечение к той величаво прошагавшей мимо него женщине, представив ее рядом, близко, в семейной жизни, и улыбнулся, потому что приятно было думать об этом; он снова макнул ручку в чернильницу и ничего не написал; вычистил перо и опять погрузил его в чернила; потом встал и, мысленно чертыхаясь, прошелся по комнате. Нет, работа ему никак не давалась, а между тем он чувствовал, что именно сегодня должен написать что-то очень важное и определяющее весь смысл его книги. Матовый свет настольной лампы, синие обои, коричневые гардины — все это казалось тусклым, тонуло в холодной сумрачной голубизне; сизоватый сумеречный свет, заполнивший все уголки кабинета, падал и на лицо стоявшего у стола с заложенными за спину руками Ивана Евдокимовича, придавая румяным и бритым щекам его тот оттенок бледности и утомленности, какой бывает у канцеляристов или писателей, по крайней мере около года не встававших из-за своего письменного стола; Иван Евдокимович любил казаться утомленным и всегда хмурился и

сдвигал к переносице брови, когда хотел подчеркнуть напряженную работу мысли; он и сейчас хмурился и время от времени потирал ладонью лоб. «Надо писать, писать!..» Но вместо того, чтобы сесть за стол, он пошел на кухню и сначала выпил стакан холодной воды, потом, хотя кушать ему совсем не хотелось, съел бутерброд с маслом и опять запил водой из крана; возвращаясь в кабинет, он остановился и заглянул в спальню, где давно уже спала жена; маленький ночничок, когда-то привезенный им из Москвы и напоминавший розу, горел на тумбочке возле кровати, и неяркий красный свет от него разливался по комнате; под одеяльник, простыня, подушка и лицо на подушке, повернутое к свету лицо Валентины — жена во сне чему-то улыбалась, — все здесь было розово и совершенно противоположно тому, что было в кабинете; он нагнулся и поцеловал Валентину в щеку, и в тот момент, когда прикасался губами к ее теплой и нежной коже, опять на ум пришла та встретившаяся в горах пророчица; Иван Евдокимович на секунду замер, прислушиваясь к себе, к вдруг возникшему в нем новому чувству и желанию, и, удивляясь, что так легко может думать о другой, не краснея и не стыдясь, хотя еще месяц назад, еще день назад, еще сегодня утром, когда Валентина подавала на стол только что снятые со сковородки оладьи, сказал ей, и больше сам себе, что у него самая лучшая жена на свете, — он вспоминал ейчас о пророчице, и даже ее косой и надменный взгляд представлялся ему теперь каким-то особенным, зовущим. Он встряхнул головой, будто хотел разом освободиться от всех этих нелепых дум и, проговорив: «Какая чепуха», — жестко и уверенно направился опять в кабинет. Он сел за стол и почти машинально выдвинул ящик; среди папок с печатными и рукописными текстами лекций он отыскал ту, в которой хранились не вошедшие в его «Записки атеиста» и написанные в разное время главы и наброски глав; однажды, пять с лишним лет назад, он был на судебном процессе, кажется, в Афимовке, общественным обвинителем и тогда же записал несколько интересных мыслей, — эти записи, потому что они лежали сверху, и увидел Иван Евдокимович, когда развязал и открыл папку; он прочел несколько строк о монахе Каширине, которого как раз судили тогда в Афимовке как главаря нелегальной монархической общины последователей истинной православной церкви, потом взглянул на высказывания свидетелей и, прочтя фамилию

Гойго, задумался: он вспомнил этого старика, белого как снег, но еще крепкого, работавшего сторожем на колхозной ферме. Гойго говорил на суде смело, резко и приводил наизусть выдержки из библии и евангелия, разоблачая монаха, и Иван Евдокимович даже теперь, спустя столько лет, хорошо помнил выступление колхозного сторожа; но сейчас он подумал не о выступлении, а о биографии старика Гойго, потому что она была чем-то схожа с биографией Каширина: один воспитывался в скиту, другой был поводырем у набожных слепых старцев; и тот и другой, с детства впитавшие в себя религиозные истины, выросли совершенно разными людьми; в сравнении двух биографий может открыться правда, почему один стал монахом, другой — тружеником. Все больше увлекаясь сравнением двух биографий и думая, почему эта удивительно точная мысль пришла в голову так поздно, спустя почти пять с лишним лет, Иван Евдокимович наконец, забыв и о пророчице, и о жене, и о третьей истине, которую непременно хотел найти и записать, — забыв обо всем этом и успокоившись, наконец-то почувствовал себя в том рабочем состоянии, когда не замечаются ни шершавость бумаги, ни скрип пера, ни шлепанье босых ног проснувшейся и прошедшей через комнату жены; он писал, склонившись над столом, не замечая времени, вспоминая все новые и новые подробности судебного процесса в Афимовке.

Они сидели в первом ряду, те четверо, худые, болезненно бледные, по-разному обиженные жизнью, которых монах и святой отец Григорий благословил на голодную смерть; «даруй нам, бодренным сердцем и трезвенной мыслью, познать всю настоящего жития ночь, избави от бременной плоти и прими души наши в Божественный чертог славы»; с клубной сцены Иван Евдокимович хорошо видел их: Г л а ф и р у Б е л я е в у, бывшую скотницу, которая дважды выходила замуж и которую дважды бросали мужья, потому что она не могла рожать детей, — она после этого пила, распутничала, а потом примкнула к секте, ушла из колхоза и, вняв увещеваниям святого отца, согласилась совсем «освободить свою душу от греховного тела»; К л а в д и ю С т р и ж е н о в у, или, как ее все называли в Афимовке, бабушку Стрижиху, у которой еще в двадцатом анненковцы расстреляли мужа-партизана, а потом погибли два сына —

один на озере Хасан, другой на финской,— эта старуха, проработавшая всю жизнь в колхозе, вышла на пенсию, но пенсию ей платили нерегулярно, потому что то и дело менялись председатели,— эта старуха, о которой в миру забыли, но которую подобрал и приютил в своей секте Каширин, согласилась умереть, отдать богу душу потому, что монах предрек ей радостную жизнь на том свете и скорую встречу с мужем и сыновьями (между прочим, сам Каширин на предварительном следствии сказал, что хотел просто отомстить старухе за прошлое, за мужа-партизана, потому что так завещал ему, умирая, «болящий человек»); К л а в д и ю П р и х о д ь к о, совсем почти девочку, только-только окончившую десятый класс,— она сидела сейчас с ребенком на руках и была, несмотря на всю свою худобу, счастлива и тем, что ее спасли, и, главное, своим материнством (она работала на току, и с ней случилось несчастье: соблазнил какой-то парень, то ли афимовский комбайнер Василий, баянист и плясун, за которым водилась такая слава соблазнителя, то ли какой-то студент — на току всю осень работали присланные из города студенты,— Клавдия упорно не называла имени отца мальчика; тогда, осенью, она забеременела и всю зиму мучилась, не решаясь никому открыться; жила у родителей на хуторе, вернее, на бригадном стане, а весной попросилась в село к тетке; она сама хотела умереть, чтобы никто не узнал о ее несчастье, и увещевания святого отца — ее тоже вовлекли в секту — только помогли решиться на это; она ушла от тетки, сказав, что хочет вернуться домой, на бригадный стан; в то время как тетка считала, что Клавдия дома, а родители,— что их дочь у тетки,— Клавдия, беременная, лежала в каширинской деревянной баньке, что на краю огородов, лежала прямо на полу, на тонкой соломенной подстилке, рядом с Глафирой Беляевой, и умирала голодной смертью...),— она сидела сейчас, счастливая, с ребенком на руках, и за ее спиной виднелись лица все еще не оправившихся от испуга, робких и растерянных перед неожиданно навалившимся горем родителей; Р о м а н а С е л и в е р с т о в а, еще недавно красивого и стройного, теперь длинного и тощего, как жердь, мужчину с бородой, редкой и седой,— ему еще нет и сорока пяти, но выглядит он совершенным старцем (четырнадцатилетним мальчиком, разрушая воробьиные гнезда в застрехах колхозных хлебных амбаров, он сорвался и упал на старый, поржавевший, заброшенный и заросший бурьяном

тракторный плуг; изогнутое крыло отвала угодило как раз промеж ног, в пах; за Романом тогда прилетал санитарный самолет, и это было событием на всю Афимовку; но со временем все забылось, и только сам Роман все эти дни и годы ни на час не забывал о своем несчастье; он не служил в армии, не женился и даже не ходил на вечеринки; чем становился старше, тем делался угрюмее, злее, молчаливее; когда в селе сколотилась секта, — это вскоре после войны, — сразу же вступил в нее и не пропускал ни одного служения, молясь до онемения колен и не скупясь на пожертвования; он трудился на ферме, выполняя каждый день одну и ту же работу — менял подстилку у коров, выгребал навоз и отвозил его на вагонетке по подвесной дороге; он ловил на себе насмешливые взгляды доярок, замужних и вдовых, соблазнительно переодевавшихся при нем в белые халаты, и поспешно уходил, сутулясь и страдая; он первым из четверых, прослушав проповедь Каширина, попросил у святого отца благословения в иной мир, вечный, к «отверзшимся для праведников вратам Божественного чертога славы»)...

С клубной сцены, где находился Иван Евдокимович, — как общественный обвинитель, он сидел рядом с прокурором, за одним столом, — он отлично видел и этих четверых: Глафиру Беляеву, бабу Стрижиху, Клавдию Приходько с ребенком на руках и тощего, как жердь, Романа Селиверстова, который — один из всех — сетовал на то, что ему не дали умереть; видел весь зал, до отказа заполненный людьми — здесь были и свои колхозники, афимовские, и приезжие из других деревень, и даже городские, привлеченные необычностью процесса; они заняли все ряды, заполнили проходы и облепили подоконники; они ходили, как на паломничество, к той небольшой деревянной каширинской баньке, самой обыкновенной, топившейся по-черному, похожей на тысячи других таких, разбросанных по русским деревням, разглядывали дверь, стены, окно, пол и солому, расстеленную и уже затоптанную на полу; некоторые у порога снимали фуражки, будто входили в дом, где обмывали покойника. Иван Евдокимович тоже осматривал баню. Может быть, потому, что он ходил туда до процесса, по свежим, как говорится, следам, когда еще солома на пологе и по углам, уложенная в виде постелей, хранила и формы, и даже, наверное, тепло лежавших на ней скорчившихся от голода человеческих тел; может быть, еще и потому, что как раз перед тем как пойти осматривать, он

прочел показания Каширина и все знал в подробностях сколько дней голодали обреченные, как они мучались, за глушая боль молитвами, как их один раз в сутки, глубокой ночью, Каширин выводил на прогулку, а днем держал заперти и даже оконце заколотил досками, чтобы не проник свет,— может быть, именно потому, что Иван Евдокимович знал обо всем из показаний святого отца и, главное, потому, что, войдя в баню, мог вообразить себе, как все было, и вообразил, как лежала беременная Клавдия Приходько, съездившись, поджав к животу колени, как ворочался на пологе Роман Селиверстов, кряхтя и бесконечно шевеля губами, как плакала и грызла солому Глафира Беляева,— там, где она лежала, у забитого досками окна, виднелась на полу горка нагрызанной соломы,— может быть, именно потому осмотр произвел на Ивана Евдокимовича особенно гнетущее впечатление. И на суде, и после процесса он долго не мог забыть ни лиц обреченных, ни той деревянной бани, где они готовились умереть; ему казалось, что он не только видел их там во время мучений, но и чувствовал то, что чувствовали они, выходя ночью на прогулки; ему так казалось, хотя он испытывал совсем иное чувство — страх перед бессмысленностью того, что здесь совершалось. Он ходил по той тропинке, по которой Каширин водил на прогулки полуживых, истощенных и качавшихся от голода Беляеву, Стриженову, Приходько, Селиверстову,— глядя на желтые головки подсолнуха, нависавшие над плетнем, на кочаны капусты, матово-зеленые, сочные и хрусткие, обсыпанные росой, глядя на затянутые сизым кизячным дымком белые избы Афимовки, Иван Евдокимович с содроганием думал, как можно добровольно согласиться уйти из этого мира в небытие? Для него, как и для всех афимовцев, это было тогда необъяснимой загадкой; тогда — он только начинал трудиться над своими «Записками воинствующего атеиста». Потом, сталкиваясь с сектантами, он видел более страшные картины — мурашковцы, например, вырезают семь крестов на спине, семь печатей, как они называют этот обряд крещения, потом собирают стекающую со спины человеческую кровь, смешивают ее с вином и причащаются,— видел более страшные картины, но афимовская история всегда оставалась для него самой жуткой и непостижимой. В тот день, когда он осматривал баню, и особенно вечером, после ужина, когда остался один на один с настольной лампой, тишиной и своими думами,— долго не мог

приступить к составлению обвинительной речи, потому что ему вдруг пришла в голову мысль, что во всем случившемся больше виновата общественность, чем Каширин, общественность, которая равнодушно смотрела на несчастья ближних и даже, пожалуй, что гораздо вернее, ничего не знала об этих несчастьях, и в то же время с тем же равнодушием, спокойствием и даже смирением — «Какой вред от десятка верующих старух!» — терпела рядом с собой далеко не безобидного монаха Каширина; Иван Евдокимович чувствовал, что в сущности дело обстоит не совсем так, что он преувеличивает, обвиняя общественность, но в этот вечер он уже не мог думать иначе; он ходил из угла в угол комнаты и говорил себе, — он повторял только тот неправильный довод, десятки раз слышанный от других, — что «в каждую душу не влезешь, за каждый забор не заглянешь», и представлял себе, удивляясь и поражаясь своему преувеличению, сколько еще таких домов, таких заборов по городам и селам страны, за которые нельзя заглянуть и за которыми творятся самые невероятные дела — моления, обманы, сделки, разврат, за которыми калечатся судьбы детей, совершаются насилия, измены; Иван Евдокимович знал, что преувеличивает, думая так, но в этот вечер он был уверен, что нужно преувеличивать, чтобы заставить людей оглянуться на свое равнодушие; самый страшный приговор для человека — это людское равнодушие; в какие-то минуты он пытался оправдывать общественность, у которой — большие дела, и которой — некогда заниматься досадными мелочами; шла война, люди думали, как накормить борющийся фронт, трудились, трудились, трудились, и никому не было и не могло быть дела до того, чем занимаются бывшая попадья, притворившаяся больной, и ее нелюдимка дочь, как живет худой и, наверное, туберкулезный скитский мальчик Гриша, как жили другие такие же, в других деревнях и городах, выросшие теперь в озлобленных пресвитеров и проповедников; после войны снова — подъем разрушенного хозяйства, новая волна энтузиазма, новые большие дела, и один отставший от ста идущих, — на него уже никто не обращал внимания; «такое время, нам некогда оглядываться»; но сам Иван Евдокимович, противореча только что приведенному доводу, оглядывался и пытался пристальнее рассмотреть события; продолжая ходить по комнате из угла в угол, он говорил себе: «А вот Каширины проникают

в души, заглядывают за глухие заборы!» — и эта фраза вызвала десятки новых предположений. В обвинительной речи, которую он спустя несколько дней написал и представил в районный комитет для согласования, был большой упрек афимовской общественности; но в райкоме, потому что деревня Афимовка была районным центром, посоветовали сократить «страницы с упреком», а в тот день, когда Иван Евдокимович, волнуясь, готовился прочесть свое обвинение, к нему подошел инструктор и, как бы между прочим, заметил, что лучше бы совсем не упоминать ни о каком равнодушии... С клубной сцены Иван Евдокимович хорошо видел и весь зал, до отказа заполненный людьми, и свидетелей на первом ряду, среди которых находился сторож Гойго, белый как снег старик, — это он заметил, как Каширин по ночам выводил из своей баньки на прогулку обреченных, он выследил и рассказал о своих подозрениях колхозному председателю и секретарю сельского Совета — Иван Евдокимович хорошо видел его устало склоненную белую голову, но еще лучше видел Каширина, потому что ближе всех к сцене находилась скамья подсудимых. Монах и святой отец, за спиной которого стояли сейчас конвоиры, и штыки их винтовок тускло и холодно поблескивали от света электрических ламп, — монах отрицал все обвинения, какие ему предъявлялись; хотя он, прежде чем отправить Беляеву, Стриженову, Приходько, Селиверстова на голодную смерть, велел им принести все деньги и ценные вещи, потому что, дескать, «бог щедр и славен щедротами людскими», и еще потому, что «всякий оставленный на земле знак есть только порочный соблазн, и он не должен смущать их чистые, приготовленные к иной, высшей жизни, души», — хотя, попросту говоря, монах Каширин обобрал их, прикрываясь святыми словами, но сейчас он говорил, что выполнял лишь волю божью; суд над ним он называл божьим испытанием и добавлял при этом, что готов вынести любые мучения за веру; он говорил это для верующих, которые находились в зале, чтобы потом, после тюрьмы, с еще большей уверенностью именовать себя святым отцом. Так же, как и старик Гойго, Каширин то и дело опускал голову, но только Гойго от усталости, а этот для того, чтобы казаться кротким и смиренным, чтобы никто — главное, судьи, от которых теперь зависела его судьба, — не мог заметить вспыхивавшей в его глазах ненависти и злости. Иван Евдокимович хорошо запомнил эти две склоненные головы: бе-

лую, как снег, старика-сторожа и черную, длинноволосую, монаха Каширина; сейчас, перебирая старые записи в ночной тишине кабинета и вспоминая об афимовском процессе, он видел перед собой все те же склоненные головы — белую и черную, — видел их, казалось, еще отчетливее, чем в тот день на суде, и разница цветов представлялась ему теперь символичной; две головы — белая и черная, две биографии — белая и черная; тогда Иван Евдокимович не думал, что можно сравнить эти две жизни, напротив, он отмечал только то, что рознило Гойго и Каширина: их убеждения и, главное, возраст (одному за шестьдесят, другому под тридцать), и ему даже вначале казалось, что произошло досадное смешение, что, если бы на скамье подсудимых сидел старик, а не молодой, — было бы куда естественнее и логичнее. В перерыве между заседаниями суда он поделился своими соображениями с Гойго.

«Мы просмотрели, а скитские старцы подобрали и воспитали».

«Я тоже был пятнадцать лет поводырем у набожных слепых старцев, а потом штурмовал Зимний».

«И все же — воспитание, среда...»

«По-нашему, по-крестьянски, так: что у кого в крови».

«Ну, ну?»

«Глядели на дом под пекарней? А чей он? То-то. Вот куда надо смотреть, в корень, в собственность...»

Вспоминая об афимовском процессе, Иван Евдокимович вспомнил сейчас об этой мимолетной и, как тогда показалось, совершенно случайной и ничего не значившей беседе; в тот раз он лишь удивился странному и впервые услышанному им выражению «что у кого в крови», и еще заметил неправильное сочетание слов: «смотреть в собственность»; смотреть в собственность нельзя. Может быть, на собственность, — он заметил это потому, что хотя в свое время и закончил исторический факультет, однако писал статьи и заметки в местные газеты, считал себя журналистом и, как все журналисты, конечно, знатоком языка и стилистом, — Иван Евдокимович заметил и это, и еще несколько неправильных, по его мнению, словосочетаний в речи Гойго, но из уважения к старости не стал поправлять колхозного сторожа. Теперь же, когда тот короткий разговор всплывал в воображении, Иван Евдокимович не замечал неправильностей, а больше обращал внимания на смысл, какой те неправильности выражали. «Смотреть в собственность» — вот

разгадка, которую он искал много лет, трудясь над «Записками атеиста», и которая открылась ему лишь сегодня, неожиданно, только потому, что он достал папку со старыми записями, вспомнил судебный процесс, сцену, где сидел рядом с прокурором, четверых обреченных, подсудимого монаха, свидетеля Гойго и еще фойе колхозного клуба, где все курили и было очень дымно, и где все же он, Иван Евдокимович, в шуме и сутолоке сумел так деловито и умно потолковать со стариком. «Собственность!..» Каширин имел дом в Афимовке; не этот, не монах, попавший на скамью подсудимых, а его отец, наказанный за поджог колхозных хлебных скирдов, но этот — этот знал, что мог бы иметь, как мог бы жить, — тем и заманчивее представлялась ему жизнь деревенского кулака, потому что сам не испытал ее, но зато слышал о ней много от старцев и «болящего человека»; «что у кого в крови»; у Каширина — ненависть, давняя, заскорузлая кулацкая ненависть; Ивана Евдокимовича теперь уже не смущало, что прошло столько лет Советской власти, а все еще существует эта каширинская ненависть; именно потому, что она существует, — есть секты, есть проповедники и пресвитеры, злобствующие, неудержимые и неисправимые, как афимовский монах Григорий.

«Что у кого в крови!..»

Иван Евдокимович не знал, до которого часа работал; встав из-за стола и разминая затекшие пальцы, прошелся по кабинету, потом сел в мягкое кресло, совсем не намереваясь отдыхать, потому что, как ему казалось, не чувствовал усталости и, несмотря на поздний час, не хотел спать, — сел просто так, по привычке, потому что в какую-то минуту это мягкое кресло оказалось перед ним; он был доволен тем, что хорошо потрудился и что вечер не пропал даром, что работалось ему сегодня сравнительно легко: он написал около шести или семи страниц и чувствовал, что может написать еще, что есть еще мысли, есть желание, он возбужден и только немного затекли, онемели пальцы, державшие ручку; был доволен тем, что сидит в мягком кресле и что может позволить себе такое удовольствие, особенно сейчас, и что может устроиться еще поудобнее, почти полулежать, и он, не противясь желанию и еще не сознавая, что его одолевает дремота, а лишь ощущая, как где-то внизу, у ног, родилось тепло и теперь, приятно растекаясь вокруг, про-

никало сквозь мягкую пижамную куртку и рубашку и охватывало тело,— он опустил голову на высокую спинку кресла и закрыл глаза; уже засыпая, он продолжал думать о том, что вот сейчас, чуть-чуть понежась, снова сядет за стол и закончит наконец предпоследнюю и самую трудную главу «Записок воинствующего атеиста». Спал он долго, а когда проснулся, с удивлением увидел, что в комнате уже светло, что он полулежит в кресле, а рядом стоит жена, Валентина, еще не причесанная, сонная, в длинной белой ночной рубашке и ночных туфлях; она подошла только что; когда направлялась сюда, в кабинет, шаркая стоптанными туфлями по комнате, собиралась как следует отчитать мужа за бессонную ночь,— в конце концов, здоровье прежде всего; и еще: ей надоело просыпаться одной и протягивать руку к холодной подушке,— собиралась как следует отчитать мужа, но теперь, стоя перед ним и видя его розовое и совсем не утомленное, а, напротив, дышащее здоровьем лицо, смутилась и не могла решиться, что делать, отчитывать или не отчитывать; она стояла, расслабленно опустив руки, растерянная, и ее чуть припухшие полусонные глаза,— по крайней мере, так показалось Ивану Евдокимовичу — смотрели приветливо и ласково; она стояла так близко, что можно было легко обнять ее, но Иван Евдокимович только взял ее теплую и мягкую руку в свою ладонь. Эти несколько секунд пробуждения, пока он держал ее руку, были настолько приятны ему, что, несмотря на явно ощутимую боль в одеревеневшем плече — он лежал неловко, наклонившись на бок,— не хотелось шевелиться; его волновало все: и то, что пришла в кабинет Валентина и пришла сразу, как только проснулась и встала с постели, и беспорядочно лежавшие на столе и освещенные теперь утренним солнцем страницы «Записок», и вспомнившийся вчерашний вечер, как он, возбужденный и сосредоточенный, сидел за столом и едва успевал записывать рождавшиеся в голове слова и предложения, как рылся в старых папках, и то, что было вчера днем: прогулка в горы, процессия со «святой водой» и пророчица, шагавшая впереди,— он и теперь, вспомнив о пророчице, улыбнулся,— все, о чем он думал, что видел и к чему прислушивался сейчас, волновало и наполняло его счастливым ощущением жизни; но главное, чему он особенно радовался, размышляя о событиях прошедших суток,— теперь он завершит наконец предпоследнюю главу «Записок», потому что нашел то т р е т ь е, ту истину, которую

искал, нашел объяснение каширинской озлобленности: «Что у кого в крови!..» Поднимаясь, поправляя на себе пижамную куртку и чувствуя, что обязательно должен сказать жене что-то ласковое и нежное, подыскивая нужные слова и не находя их, думая и не решаясь поделиться с ней своим неожиданным открытием, потому что это, во-первых, в двух словах будет непонятно и придется рассказывать долго и много и, во-вторых, все равно не доставит ей радости, потому что она уже десятки раз говорила, что ей надоело «Записки» и все, что связано с ними,— чувствуя, что надо сказать что-то нежное, и не находя нужных слов, Иван Евдокимович, нагнув голову и делая вид, что рассматривает какие-то совсем незаметные пятна на брюках, но на самом деле лишь для того, чтобы не встретиться взглядом с женой, негромко сказал:

— Мы проспали сегодня, Валя.

— Да.

— А я хотел пораньше, хотел прямо с утра на рудник.

глава четвертая

Будильник звенел в шесть, ставни открывались в восемь. Хотя Каширин всегда просыпался немного раньше и, ожидая звонка, лежал с открытыми глазами, хотя ничего непредвиденного для него уже не могло быть, потому что почти с одинаковой точностью повторялось каждое утро,— все же вздрагивал, как от укола, когда резкий и дребезжащий звук вдруг разрывал комнатную тишину. Чтобы не потревожить спящую Екатерину, святой отец сначала осторожно спускал с кровати ноги, затем вставал во весь рост, относил будильник на стол и лишь после этого, довольный ранней побудкой и в то же время отлично сознающий, что лежать больше нельзя и надо уходить к себе в келью, в свое подполье,— лениво и неохотно потягивался, косясь на оставленную теплую постель. Он не включал света, хотя было еще темно; сквозь щели в закрытых ставнях пробивались лишь узкие и слабые полоски зари, они падали на стену, стушевываясь и бледнея, скользили по никелированной спинке кровати к подушкам; Каширин не уходил, медлил; присмотревшись и хорошо различая предметы, он еще несколько секунд стоял у стола и отсюда, издали, наблюдал за спящей Екатериной. Она дышала ровно, лицо

ее было спокойно, как у праведницы; белая рука поверх одеяла, белое плечо и голубая тесемка сорочки у шеи, щека, порозовевшая от сна и покоя,— все это вызывало у Каширина чувство нежности; он был горд в такие секунды, что ему, но никому другому, разрешалось гладить, ласкать эти белые круглые плечи, ощущать близость теплого гладкого тела, ее тела, Екатерины, женщины, ставшей ему теперь самым близким человеком; он стоял у стола и мял, сжимал в ладони свисавший край клеенки; одиночество тюремных камер, мучительная бессонница лагерных ночей и думы, разъедавшие душу, воображение, болезненно рисовавшее счастье семейных лож,— то прошлое, пережитое, и это, к чему стремилась и чего наконец достигла его совсем не монашеская душа,— это затмевало все в его сознании и как бы приподнимало над самим собой; он пьянел от полноты наслаждений и каждый новый день жил ожиданием будущей ночи. Даже плохо проветриваемое подполье, где постоянно ощущался густой запах плесени от подгнивавших половых досок и еще более густой и неприятный запах от редко сменяемого постельного белья, где всегда было полусумрачно, и днем и ночью, потому что единственным освещением служили свечи,— даже это подполье, сырое и душное, казалось ему в первое время вполне уютным, хотя иногда приходилось просиживать в нем, не поднимаясь наверх, почти по целым суткам. Тогда Каширин либо мастерил деревянные крестики, выстругивая их ножом из сосновых плашек, наслаждаясь работой и забываясь в ней, либо полудремал, развалившись на своей жесткой койке и заложив руки за голову.

Ничего, казалось, не изменилось и в это утро; заглушив будильник, он стоял у стола, мял в ладони край клеенки и смотрел на Екатерину; но сегодня,— может быть, потому, что шел четвертый месяц их совместной жизни и все уже стало для Каширина будничным, обычным, или еще потому, что несколько дней назад во время ночной прогулки в горы он видел ужасную картину пожара и все еще находился под впечатлением пережитых минут (Каширин оказался неподалеку от горевших складов и не только наблюдал, как их тушили, но и сам, увлеченный толпой, работал лопатой, откапывая подступы к начинавшемуся сразу за складами колхозному хлебному полю),— может быть, именно потому, что в последние дни мысли об этой ночной прогулке и пожаре все чаще и чаще занимали его воображение,— сегод-

ня белое плечо спавшей спиной к стене Екатерины уже не волновало его так, как прежде. «Перебесишься еще», — эти слова, как-то однажды сказанные Екатериной, всплыли сейчас в памяти, и он, удивляясь простоте и глубине вложенного в них смысла, будто это было мудрое библейское изречение, повторил их сперва полушепотом, как повторял слова молитвы, потом произнес с ехидством, насмехаясь над собой и брезгливо кривя губы; потом — отодвинув будильник к середине стола, чтобы Екатерина, проснувшись, случайно не столкнула его, пошел к половику, закрывавшему лаз в подполье. Очутившись в подполье, на ощупь в темноте добрался до кровати, присел на край незастланного простыней матраца, затем лег и закрыл глаза. Обычно он засыпал сразу же, как только спускался в свою келью, и спал крепко, не слыша ни шорохов, ни стука шагов одевавшейся и готовившей завтрак Екатерины; он так и не знал точно, в какое время она поднималась, что успевала сделать утром, пока он спал, — в открытую крышку лаза неожиданно врвался ее негромкий и ласковый окрик: «Вставай, завтрак готов, и теплая вода умываться...» — и это пробуждение было приятно для Каширина; оно было приятно, во-первых, потому, что он снова мог видеть Екатерину, быть с ней и не мучиться одиночеством, и, во-вторых, главное, потому, что в эти минуты он чувствовал себя не монахом, не святым отцом, а просто добрым семьянином, хозяином; потом начинался день, приходили верующие, он читал им молитвы, проповеди, принимал исповеди и давал советы, развязывал, ворча и ругаясь, оставленные тощие узелки с жертвованиями, — потом было все то, что составляло его жизнь, привычное, серое, надоевшее, и потому он особенно дорожил минутами пробуждения, когда сквозь открытую крышку лаза слышались слова: «Вставай, завтрак готов...» Теперь, лежа с закрытыми глазами, он с удовольствием подумал, что и сегодня, как вчера, позавчера, как месяц назад, будут у него эти счастливые минуты пробуждения; но он долго ворочался с боку на бок и не мог заснуть. Не то горькое сознание пустоты и бесцельности жизни, которое позднее будет угнетать его и в конце концов приведет к безумию, — еще не старый, худой и заросший, как схимник, будет сидеть он в палате психиатрической больницы и называть себя Иисусом, вторично сошедшим на землю для спасения рода человеческого, — не это ужасное будущее, о котором он ничего не знал и в которое,

если бы даже кто-нибудь сказал об этом, все равно ни за что бы не поверил, а просто разные неприятные житейские думы сегодня больше обычного беспокоили его. Он как бы со стороны взглянул на свою затворническую жизнь, и то, что всегда казалось естественным и не замечалось в обыденной суете, сейчас, в воображении, представлялось унижительным и гнетущим. Сумеречная синева комнаты, спящая Екатерина и он, монах Григорий, в нательной рубашке и подштанниках подкрадывающийся к кровати, именно подкрадывающийся,— так представлялось ему сейчас, хотя на самом деле он не подкрадывался, а просто от нежности и желания угодить Екатерине проходил по комнате осторожно, на носках: и когда по ночам поднимался к ней из подполья, и когда после надрывного звонка будильника неохотно покидал теплую постель. Он видел в воображении всю картину и особенно себя настолько ясно, что даже, как ему казалось, различал мельчайшие морщинки на своей пожертвованной нательной рубашке, не по росту большой, принесенной какой-то верующей старухой в узелке вместе с тремя вареными яйцами и кирпичиком серого хлеба,—эта рубашка, желтоватая от стирки и времени, всегда как мешок свисала с его худых и слегка сутулых плеч, но зато подштанники, тоже пожертвованные кем-то из верующих, были малы и каждый раз трещали по швам, когда он, присаживаясь на корточки, откидывал половик и приподнимал крышку лаза. Каширин усмехнулся, представив себя сидящим на корточках и откидывающим половик, и чем отчетливее вырисовывалась перед глазами эта картина, тем больше вызывала в нем неприязнь к себе и жалость. «Это только с виду жизнь «болящего человека» сладка и заманчива!» Чтобы избавиться от гнетущих мыслей, Каширин порывисто встал, не снял, а почти сорвал с себя ставшую теперь ненавистной пожертвованную рубашку, затем так же порывисто лег, но и после этого не мог заснуть. Он вспомнил разговор с Екатериной, который произошел совсем недавно, как раз в тот вечер, когда он ходил на прогулку в горы и участвовал в тушении пожара; сейчас Каширин подумал, что только потому и пошел в горы, что состоялся этот разговор.

« — Деньги у нас кончаются, Григорий.

— Твои?

— Да. Те, что я привезла с собой. А на одни пожертвования не проживешь.

— Скупыни, скряги, жидоморки,— а еще евангелие им подавай!

— Не ругай их, старухи сами только на пенсии живут.

— На «пенсии»...

— Господи!..

Драть с них надо еще за святую воду. По гривеннику, по полтиннику, по рублю за стакан!

— Зачем ты так?

— Молчи, глупая».

Каширин тогда вспылал; он вспылал потому, что ждал такого напоминания и знал, что деньги, привезенные Екатериной,— это были сбережения матушки Василисы; умирая, она передала их дочери и велела хранить на «черный день»,— что деньги кончались, что на пожертвования, на скудные приношения верующих старух прожить невозможно и надо что-то предпринять; он раздумывал над тем, что бы такое предпринять, но ничего пока не приходило на ум, и тут как раз — это напоминание. Екатерина замолчала, и Каширин, заметив ее смущенный и упрекающий взгляд, почувствовал еще большее раздражение; не сказав даже: «Не серчай, Катя»,— как обычно говорил, когда хоть чем-нибудь обижал ее,— ничего не сказав больше, понимая, что неправ, что вовсе не на Екатерину нужно злиться, а на что-то другое, на верующих, на самого себя,— понимая все это и не в силах подавить в себе возникшее на мгновение чувство неприязни и раздражения,— Каширин отвернулся и долго стоял у окна, угрюмо насупив брови.

Сейчас, ворочаясь с боку на бок, он вспомнил и об этом разговоре, и о том, как стоял у окна, насупив брови; вспомнил потому, что видел вчера брошенный Екатериной пустой кошелек; кошелек валялся на столе, и Каширин, когда остался один в комнате, открыл и заглянул в него. «Да, на один пожертвования не проживешь».

Но больше всего в это утро мучили Каширина воспоминания о ночном пожаре.

Для чего он подошел к горевшим складам: просто из любопытства, или было желание помочь людям, или еще какое-либо иное чувство овладело им в эту минуту,— он не мог теперь припомнить, для чего именно; когда он шел по лошине, небо было чистым и звездным и вокруг царила

безмятежная ночная тишина; когда он, уже возвращаясь домой, стал подниматься по косогору к вершине, заметил небольшое красное зарево; все еще возбужденный после разговора с Екатериной,— прогулка не успокоила его, а, напротив, только больше возбудила, потому что он не мог не думать о деньгах, которые кончались и которые надо было теперь где-то добывать,— занятый своими думами, сначала он даже не обратил внимания на зарево, а так, как бы между прочим, на глазок, определил, что зарево как раз над рудничным комбинатом, что там либо идет электро-сварка, либо разжигают какие-нибудь топки; только когда вышел на косогор и, обдуваемый со всех сторон ветром, остановился у камня, возле которого всегда останавливался, чтобы полюбоваться ночным, залитым огнями электрических фонарей городом,— увидел и горевшие склады, и языки пламени, взвивавшиеся к небу, и клубы дыма, и людей в багряных отсветах, суетливо бегавших и метавшихся вокруг охваченных пламенем зданий. Нет, Каширин не мог припомнить, для чего он подошел к горевшим складам. Но зато он отлично помнил, как свернул с тропинки, чтобы идти напрямик, как шагал затем по меже, вдоль хлебного поля, почти бежал, торопясь к огню и дыму, будто хотел заслонить собой тяжелые, пригнутые к земле и звеневшие на ветру колосья пшеницы; даже теперь, когда все виденное вставало лишь в воображении,— он ощущал и пьянящий запах созревшего, уже готового к уборке хлеба, и горечь стелившегося над полем дыма, и то чувство тревоги, которое испытывал тогда, будто беда угрожала не колхозному полю, а чему-то большему, более близкому ему, Каширину, чему-то священному — х л е б у! — то чувство вновь переживал он сейчас с еще большей остротой и волнением. Может быть, юношеская мечта о размеренной крестьянской жизни — не о той, хищной, какую прожил отец, а о другой, той, что всегда у мужика в деревне на виду,— может быть, как раз эта несбывшаяся мечта, когда-то страстно занимавшая воображение скитского мальчика Григория, но с годами забытая, снова пробудилась в его очерствевшей душе,— когда он подошел к складам, огонь бушевал уже над самыми крышами, и вдоль горевших зданий, во всю их длину, как рассыпанная в цепь рота солдат, как с ходу окапывавшийся батальон, работали люди лопатами и кирками; они вскапывали землю, чтобы огонь по траве не перекинулся на хлебное поле; сутулые спины их, потные ли-

ца, фуражки, развевавшиеся полы пиджаков и телогреек — все было окрашено кровавым заревом огня; кто-то сунул в руки Каширину лопату, кто-то крикнул: «Шевелись, шевелись, браток!» — и уже, охваченный общим порывом, совсем забыв о себе, Екатерине, подполье и деньгах, о которых только что так напряженно думал, которые кончались и которые нужно было теперь непременно где-то добывать, — охваченный общим порывом, слыша только треск горевших досок за спиной и удары рушившихся стен, слыша окрики запоздавших пожарных, задыхаясь от дыма и размазывая сажу на потном лице, он с силой вонзал лопату в сухую и твердую землю, нажимая ногой, наваливаясь на черенок всей грудью, и еще не испытанное никогда чувство труда и человеческого долга приятно возбуждало его и поднимало настроение. Он копал, не останавливаясь, только изредка поглядывая на старика соседа, тоже орудовавшего лопатой; старик был без фуражки, вероятно, когда выбегал из дому, впопыхах оставил ее где-нибудь на лавке, и теперь все время старался полой пиджака прикрыть от огня свою огромную лысую голову; эта лысая голова и еще босые ноги старика с широкой и плоской ступней от просторной обуви и постоянной ходьбы, тощие, мертвенно-синие с теневой и розовые, почти красные со стороны пожара, особенно ясно запомнились Каширину; ему казалось, что тогда, на пожаре, он даже видел, как вздувались и пульсировали от натуги синие жилки на тех босых старческих ногах.

Пшеничное поле спасали и горожане, прибежавшие из ближних домов, и колхозники, верхами прискакавшие из поселка; неоседланные кони, согнанные в чей-то двор и забытые там, рвали поводья и сквозь пролом в изгороди уходили в горы. Вот-вот должен был прибыть трактор с плугом, его ждали, а когда трактор прибыл, огонь уже почти затухал.

Люди вскидывали на плечи лопаты и отходили в сторону, уступая дорогу трактору. Но Каширин, увлеченный работой, не чувствовавший усталости, а напротив, приятно ощущавший силу в руках, продолжал копать, и только когда сосед — старик, все так же прикрывавший полой пиджака от огня свою огромную лысину, крикнул: «Да ты что, глухой, али не видишь!» — и схватил Каширина за локоть, когда тот же старик, взглядевшись в чумазое лицо святого отца, ярко освещенное в этот миг приближавшейся тракторной фарой, удивленно произнес: «Поп, что ли?!» — Ка-

ширин разогнул спину и поспешно отступил на шаг, в темноту. Хотя старик тут же забыл о своих словах и, нагнувшись, принялся завязывать белые тесемки от кальсон на босых ногах,— Каширин сделал еще шаг в сторону и, уже не выпуская из рук лопату, продолжал пятиться, стараясь как можно подальше отойти от дотошного старца; догоравшие остатки деревянных стен, пожарные в касках и серых робах, словно выныривавшие из дыма, багровые спины людей у межи вдоль пшеничного поля, и само поле, тоже окрашенное в красные и багровые тона,— все это, еще минуту назад вселявшее тревогу и вызывавшее в нем необычное, радостное ощущение труда, теперь потускнело в глазах Каширина; теперь он с иной тревогой посмотрел на окружавших его людей и боязливо, торопясь и понимая, что торопиться нельзя, иначе обратишь на себя внимание, сначала отошел к пожарным машинам, потом прижался спиной к темному забору, потом, крадучись, пробрался к росшим вдоль забора кустам и совсем скрылся в ночной темноте. Он не пошел домой, а снова направился в горы. Перевалив косогор и очутившись в ложине, где уже никто не мог видеть его и где он сам тоже никого и ничего не видел, кроме чуть розовеющего зарева над черной кромкой косогора, святой отец опустился на траву и только тут дал волю своим мыслям. Только тут, вдруг спохватившись, заметил, что тоже был без фуражки, как и тот старик; длинные волосы — Каширин не стриг их, чтобы больше быть похожим на монаха и святого отца, потому что для верующих, он отлично знал это, важнее всего внешний вид, зримое впечатление,— длинные волосы, жесткие от сажи и пепла и взлохмаченные ветром, непослушно нависали на глаза, он то и дело откидывал их рукой и, наконец, свернув носовой платок в тесемку, перевязал голову. Он еще заметил, что и пиджак был в нескольких местах прожжен, а на ладонях вспухли мозоли. Повернув ладони к свету, щурясь и рассматривая мозоли, Каширин подумал, что теперь придется целую неделю притворяться больным и не выходить к верующим на служения, подумал с досадой, будто это было главным и самым неприятным во всей сегодняшней ночной истории; но главным было другое: сильнее, чем когда-либо, он почувствовал сейчас, что есть иная жизнь, что она лучше, чем та, какую он жил, и это чувство вызвало в нем досаду и злость. Он злился и на то, что поддался минутной слабости и пошел к загоревшимся складам, и на то, что так

быстро ушел с пожара; досадовал на Екатерину, которая напомнила ему о деньгах, а теперь, наверное, спала и ничего не знала, и на то, что деньги все равно нужно доставать и никто, кроме себя самого, не поможет в этом; но больше всего злило Каширина то, что давно уже назревало в нем и в чем он пока боялся признаться себе,— он стремился жить, как «болящий человек», мечтал об этом и в Афимовке, и особенно потом, в лагерные годы, но сейчас, когда достиг, чего хотел, вдруг увидел, что обманулся, и обманулся страшно, непоправимо; он особенно остро ощутил сейчас неудовлетворенность собой не только потому, что полчаса назад испытал частицу той, другой жизни, а еще и потому, что та, другая жизнь была теперь совершенно недоступна ему: справку об освобождении, по которой Каширин мог получить паспорт и военный билет, он сжег. Он вспомнил, как на шестке, скручиваясь, превращаясь в пепел, горела тюремная справка, а он стоял, скрестив на груди руки, как победитель, и наслаждался зрелищем. Он вспомнил еще разные подробности из своей жизни — скит, молельный дом, баню на конце огорода и умирающих в ней голодной смертью Глафиру Беляеву, Клавдию Стриженову, Клавдию Приходько, Романа Селиверстова,— и все эти воспоминания только вызывали на лице его ироническую усмешку. Сколько пробыл Каширин в лощине, он не знал, время промелькнуло быстро; когда он, разминая затекшие и застывшие от сырой земли ноги, вышел на тропинку и направился домой, было уже далеко за полночь. Он шагал неторопливо, то и дело поглядывая на косогор, над которым давно угасло зарево пожара, и ненависть к людям, всегда жившая в Каширине, жгла его душу.

— Гады!

— Гады!

— Га-ды!

Он бросал эти слова всем людям; бросал потому, что ему было тяжело в эту минуту. Но он не чувствовал себя сломленным и подавленным, а напротив, мрачные размышления и то гнетущее состояние, то чувство почти отчаяния, с каким он мысленно выкрикивал слова, обращаясь к невидимым, к тем, что, по его предположению, все еще стояли за косогором, у догоравших складов,— то чувство почти отчаяния сменилось злой решимостью; что не удалось совершить в Афимовке, он повторит здесь, в Пятитрубинске, но теперь будет действовать более осмотрительно, более

скрытно, и помещение для «попросившихся в рай» подыщет более подходящее, чем та деревенская баня; Каширин обрадовался этой мысли, как находке, потому что она, эта мысль, и отражала его настроение — суд и заключение сейчас не пугали его, потому что он был уверен, что все сможет сделать так, что никто не узнает, — и, главное, давала ответ на мучивший его вопрос о деньгах, которые кончались и которые нужно было непременно где-то добывать.

«Будут деньги!»

Он так и не заснул в это утро.

Но хотя он и не заснул, он был настолько поглощен своими думами, что все равно не услышал, как там, наверху, прошла Екатерина по комнате, как откинула половики и открыла крышку лаза; ее негромкий нежный голос: «Вставай, завтрак готов...» — прозвучал так же неожиданно, как всегда, и Каширин, повернувшись и открыв глаза, увидел в просвете ее улыбающееся лицо и пальцы, впившиеся в край половиц; он тоже хотел улыбнуться в ответ, но улыбки не получилось; обычно он весело говорил ей: «Сейчас, Катя», — и тут же принимался одеваться, — он и сейчас сказал ей те же слова и, сбросив с себя одеяло, потянулся за брюками, но в тот момент, когда брюки уже были у него в руках, он вдруг почувствовал, что ответил Екатерине резко; он это почувствовал и нахмурился, потому что все сегодня раздражало его: и что он не спал, и собственный голос, и улыбающееся лицо все еще не отходившей от лаза Екатерины, и даже пуговица на ширинке, которую Каширин никак не мог ухватить пальцами; он старался подавить в себе раздражение, но не мог и только еще больше негодовал и нервничал. Что-то было не так в это утро, Каширин понимал, что что-то надорвалось в нем самом, но что — он снесва мысленно проклял ту ночную прогулку и пожар; но причина его раздражения крылась в другом: сегодня у него не было приятного пробуждения, и он не почувствовал себя, пусть на минуту, добрым семьянином, хозяином, а сразу окунулся в тот затворнический мир, в котором жил, со всеми его беспокойствами, тяготами и главной заботой о деньгах, со всей теперь осознанной неудовлетворенностью и мрачной думой о том, что

все же придется кого-то «благословлять» на голодную смерть, иначе — сам от голода протянешь ноги. Хотя Каширин ночью после пожара и решился на такое «дело», но сейчас колебался, вновь мысленно перебирая все «за» и «против», и оттого, что сегодня у него не хватало смелости и твердости,— это тоже раздражало его. Все время, пока сидели за столом и завтракали, Каширин не проронил ни слова. Он и потом, когда Екатерина, помолившись и убрав со стола, под села к нему и спросила, что с ним, почему мрачен, не захворал ли,— односложно ответил: «Нет»,— и тоном, и движением головы, и взглядом нахмуренных глаз давая понять, что не хочет не только отвечать на ее вопросы, а что вообще не желает ни о чем разговаривать, что ее нежная заботливость сейчас в тягость ему, и что, в конце концов, есть вещи посерьезнее, чем те, о которых она только и может говорить: о мыле, муке, о белых нитках, из которых хочет связать широкие кружева особенного узора для праздничных наволочек,— уже сто раз говорено об этом и сто первый разговор ни к чему, кроме расстройств, не приведет. Он так сказал свое «нет», что Екатерина больше уже не осмеливалась тревожить святого отца; она ушла на кухню, и Каширин сквозь открытую дверь видел, как она сбрасывала с плиты конфорки и устанавливала бак с водой—в этом баке обычно замачивали и кипятили белье перед стиркой и еще грели воду для крещения младенцев; Каширин не знал, для чего Екатерине нужна была сегодня горячая вода, но вид бака и громыхавших конфорок был так же неприятен ему, как все в это утро, и потому он глядел исподлобья, зло; он подумал, что Екатерина все же решила стирать, и ко всей неуютности, которую сегодня особенно ощущал святой отец, прибавилась сейчас еще воображенная картина стирки: сорванные с окон занавески, мокрое белье на табуретках, хлопья пены и ведра с грязной мыльной водой, и, главное, запах хозяйственного мыла, кислый трупный запах, заполнивший все уголки комнаты,— ко всему неуютному прибавилась еще и эта воображенная картина, и Каширин совсем помрачнел. Чтобы не наговорить резкостей и не нагрубить, он решил спуститься в подполье; это нужно было сделать еще и потому, что он, против обыкновения, хотел теперь тишины и одиночества — один на один с собой и со своими думами, чтобы разобраться в нахлынувших сомнениях; не через лаз, не как всегда, а через кухню и сенцы, через второй ход направился святой

отец в свою келью; когда проходил мимо Екатерины, услышал негромкий возглас:

— Тельнягины крестить принесут... —

— Сегодня? — остановившись и не оборачиваясь, удивленно спросил Каширин, для которого это, хотя он обо всем хорошо знал и даже сам позавчера назначил крестины именно на сегодняшний день, было сейчас совершенной неожиданностью.

— Вот должны подойти.

— Воду готовишь?

— Да.

— Ладно, как придут, позовешь.

«Тельнягины, Тельнягины...» Пока спускался по лестнице, пока откидывал защелку и открывал дверь в подполье, думал о Тельнягиной, низенькой, полной, говорливой и суетливой старухе: она не пропускала ни одной службы и всегда смотрела на Каширина с таким умилением, как на бога,—святой отец вспомнил сейчас об этом, и воспоминание доставило ему несколько приятных минут; он ухмыльнулся, представив круглое и совсем почти не морщинистое лицо старухи и то, как она всегда старалась во время служений быть в первом ряду, с какой искренностью и усердием крестилась и отбивала поклоны тусклым иконам; Каширин ухмыльнулся, вспомнив обо всем этом; но когда сел на не застланную и не заправленную одеялом — одеяло лежало комом, потому что Екатерина еще не спускалась в келью и не убирала ее,—железную кровать, когда зажег свечу и в расступившемся полумраке увидел божницу и тощих длинноликих святых с выпученными в скорби глазами — они всегда казались ему мертвецами, выглядывающими из гробов; когда увидел стены, когда-то грубо оштукатуренные глиной с соломой, потом подновленные Екатериной, побеленные ею и теперь вновь потускневшие от сырости и местами полосатые от потеков, когда заметил груды деревянных крестиков под божницей, больших и малых, выструганных им же самим из сосновых плашек — он нагнулся, поднял крестик и с хрустом раздавил его пальцами; когда вся обстановка подполья, когда-то даже радовавшая его, теперь мрачная и гнетущая, как тяжесть, вдруг навалилась на плечи и на секунду заставила оцепенеть, — те мысли, тяготившие Каширина все утро, пока он, ворочаясь с боку на бок, пытался заснуть, вновь захватили его воображение. Хотя он и теперь не был уверен, совершит

или не совершит задуманное тогда, после пожара, но теперь сомнения не мешали ему мысленно подыскивать помещение, в котором можно было бы, не боясь разоблачения, поместить «благословленных на голодную смерть» (о тех, кого будет «благословлять», еще не думал, потому что этот вопрос ему казался менее сложным: всегда в округе можно найти двух-трех очень обиженных и неудовлетворенных жизнью); он перебирал в памяти все сколько-нибудь возможные варианты: во дворе, в сарае, правда, там дощатые стены и разговор или стоны могут услышать соседи; в давно-давно заброшенной зимовке, что выше «святых ключей» по щели, но там только одни глинобитные стены и надо мастерить крышу, и к тому же еще одно неудобство — слишком далеко, а за «благословленными» необходим строгий присмотр, «дабы земные искушения в какие-то часы не показались им выше благостей рая и не надломили их смиренные и решительные христианские души»; но, может быть, лучше всего здесь, в подполье? Он снова оглядел полусумрачные углы кельи, лики святых на полках, груду крестиков и свою железную кровать и подумал, что, пожалуй, лучше всего, конечно, поместить «благословленных» здесь; четверо, пятеро — вполне поместятся; Каширин живо представил, как они будут лежать на полу, съезжившиеся, укрытые пиджаками и шалями, — ничего, кроме одежды на себе, он не разрешит им взять с собой, — а на божнице, перед Христом, будет гореть свеча, небольшая, слабая, чтобы только чуть рассеивала мрак; свеча должна гореть и днем и ночью, так будет больше таинственности и «святости» в том, что совершится здесь; «пред очами бога никакие искушения не сильны»; он еще подумал, что теперь не будет выводить их на прогулки, а чаще станет читать евангелие, читать по ночам; он уже увидел себя, как входит в подполье с евангелием в руках, и «благословленные» протягивают к нему моляще ладони. Воображенная картина не только не пугала, но, напротив, радовала и ободряла Каширина, потому что он больше думал не о мучениях и ужасах, которые придется испытать «благословленным», — потом их всех можно похоронить во дворе, прямо в сарае; выкопать поглубже яму и похоронить, — а о том, сколько добра снесут к нему те самые «благословленные»; он уже мысленно перебирал руками это добро, алчно прикидывая, сколько лет сможет жить беззаботно, не думая ни о кончающихся деньгах, ни о завтрашнем хлебе; это будущее так

взволновало его, что он встал и начал прохаживаться от стены к стене — четыре шага туда, четыре обратно, — то потирая лоб и виски ладонью, то закладывая руки за спину. Как тогда, после пожара, ненавидя и злобствуя на людей, он кричал им: «Гады! Гады!» — теперь всей своей мыслью бросал тем же людям вызов, злорадствуя и заранее наслаждаясь содеянным; он не вспоминал сейчас об отобранном отцовском доме — это жило в его крови, было такой же неотъемлемой частью, как рука, нога, пальцы; оно, это с детства внушенное чувство, было незримым компасом, всегда и всюду руководившим его поступками, — сейчас он сквозь отдаление годов только на какой-то миг слышал торжественные и назидательные слова старца Филиппа: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем: в этом доме жил твой отец...» — только на миг слышал этот шепот старца, и в памяти воскресли все прожитые годы, которые он мог бы прожить совсем не так, как прожил. Он ходил от стены к стене и повторял: «Здесь, в подполье. Здесь, именно здесь!»

На приглашение Екатерины пройти в комнату или, по крайней мере, присесть на табуретку прямо тут, на кухне, старуха Тельнягина только благодарно кивнула головой и продолжала стоять у порога; она зашла лишь на минуту, чтобы узнать, как чувствует себя святой отец и будет ли сегодня крестить.

Наклоняя голову и взглядом указывая на подполье, старуха полушепотом спросила:

— Почивает?

— Да, — ответила Екатерина и тоже взглянула на подполье. — Почивает, — повторила она тише, будто и в самом деле боялась разбудить того, о ком спрашивала старуха Тельнягина с обычной своей робостью и благоговением, потому что знала о монахе и святом отце только то, что должна была знать, что выставлялось напоказ, как само смирение и непогрешимость; но Екатерина, зная и то, что знала старуха Тельнягина, и другое, чего никто не знал, кроме нее самой, сожительницы монаха, и что мучило ее, особенно теперь, когда отношение Каширина к ней вдруг резко изменилось, — она совсем иначе, чем Тельнягина, взглянула на подполье и, тяжело и скорбно вздохнув, произнесла: «О господи!» — перекрестилась.

Старуха Тельнягина между тем тоже вздохнула и перекрестилась и тоже произнесла: «О господи!» — и еще, шевеля только одними губами и не отрывая глаз от половиц, поблагодарила всевышнего, который «не забыл о них, пяти-трубинских старухах, и для успокоения и на вящую радость их послал им святого отца»; ее старческое лицо выражало и умиление, и в то же время тревогу, потому что она искренне верила в затворническую жизнь монаха Григория, будто он действительно питался лишь одним черным хлебом и водой, как об этом постоянно твердила Екатерина, и выходил из кельи только на служения, а все другое время неустанно молился, и эти молитвы, это «общение с богом» поддерживало в нем «плоть и веру»; старуха Тельнягина так думала и потому по-своему восприняла беспокойный взгляд Екатерины и то, как та тяжело и скорбно вздохнула, и была благодарна ей за это.

— Садитесь,— снова проговорила Екатерина, спохватившись и-пододвигая табуретку госте.

— Спасибо, матушка, спасибо, милая,— торопливо отвстила Тельнягина, опять своим отказом давая понять, что пришла ненадолго.

Однако Екатерина, вначале совсем не желавшая разговаривать, но теперь почувствовавшая облегчение оттого, что в доме был чужой человек, что этот человек даже просто своим приходом нарушил неприятное и угнетавшее ее все утро течение мыслей,— все больше ободряясь и приходя в то обычное состояние оживленности, когда чужие заботы становятся так же близки, как и свои, она уже не хотела- отпускать старуху Тельнягину, основательно не поговорив с ней. С той доброжелательностью в голосе, с какой могут обращаться друг к другу только близкие люди,— между прочим, верующие любили Екатерину именно за эту доброжелательность и, кто знает, к святому отцу или больше к ней приходили многие из них,— Екатерина спросила:

— Зять-то что, согласен?

— Мила-ая, да разве ж уговоришь этого безбожника? По-его, хоть век некрещеным ходи. А я — изведусь ведь; изведусь, матушка: как же внучка некрещеная, да она и года не проживет и благодти божьей не увидит. Господи, что я говорю!

— Правильно говоришь: все под господом ходим. Бог дает, бог и прибирает. Зять-то, значит, против?

— Куда как не против, и слышать ничего не хочет. Да его нынче, матушка, нет дома, уехал.

— Куда?

— На другой рудник опыту набираться.

— Надолго?

— Месяца на два.

— Так вы ему и не пишите об этом.

— Само собой, ни слова. Ну как,— Тельнягина снова, кивнув головой, указала, взглядом на подполье,— сегодня можно?

— О чем разговор. С его добротой-то...

— Уж что добр, то добр.

— Присела бы, что ли,— и Екатерина опять, почувствовав, что разговор вот-вот может оборваться и тогда старуха Тельнягина уйдет, пододвинула ей табуретку. И тут же, чтобы ни секунды не молчать, принялась расспрашивать о том, кто будет крестной матерью, и, узнав, что в крестные Тельнягина хочет попросить ее, сейчас же согласилась, не преминув добавить, что делает это не только из уважения, но от всей души; потом любопытствовала, кого взяли в крестные отцы, и когда выяснилось, что с крестным отцом вообще еще ничего не улажено, что те, кого Тельнягина просила, отказались, а других она не знает, и что делать, как теперь быть, тоже не знает,— Екатерина услужливо предложила позвать деда Прокопа, их недалевого соседа, но, разумеется, надо сперва «ублажить» его. Что дед — это ничего; и что он уже около двух десятков раз был крестным и не помнил даже имен тех, кому теперь доводился названным отцом,— это тоже ничего; главное, чтобы был мужчина, чтобы в точности соблюсти обряд.

Довольная Екатериной и святым отцом, которого сегодня еще не видела, но о котором думала только с благоговением, и больше довольная собой, что так легко, по ее мнению, и удачно условилась о крещении и что, все, что нужно для полного соблюдения обряда, теперь будет,— довольная всем этим и с благодарностью думающая о боге, потому что «все добро на земле исходит только от него», старуха Тельнягина поклонилась Екатерине и назвала ее теперь, на радостях, не просто матушкой, а матушкой-заступницей. И хотя Екатерина все еще не хотела отпускать гостью, старуха Тельнягина, не прощаясь, а только сказав: «Я скоро, я сейчас»,— вышла из кухни. Ей надо было еще «ублажить» деда Прокопа, как советовала матушка-заступница,

а потом идти за дочерью и внучкой, которые уже собрались и только ждали ее прихода.

Вода уже была теплой, но Екатерина не стала снимать бак с печи; она прошла в комнату, намереваясь заняться уборкой, смела тряпкой пыль с подоконников, с комода и впервые за все время жизни в Пятитрубинске сейчас почувствовала, что ей неприятно заниматься этим, что она устала и лучше сесть и отдохнуть; она села как раз напротив окна, напротив половика, закрывавшего лаз в подполье, и мысли ее, хотела она или не хотела этого, невольно обратились к нему; несколько секунд она сидела тихо, не шевелясь, прислушиваясь, стараясь догадаться, что делает святой отец, но не услышала ни звука и подумала, что, может быть, он действительно почивает, как заметила старуха Тельнягина; он почивает, а ей, Екатерине, в эти минуты так тяжело, что она даже не может плакать. У нее было свое горе, о котором пока знала лишь она одна,— она забеременела. Но страшна была не сама беременность, не то, что ей теперь придется искать бабуку, хотя и это пугало ее и вызывало тревогу,— страшно было другое, то, что об этом могут узнать верующие. Екатерина думала так, как подумал бы об этом Каширин; она жила его мыслями, его расчетами, и сейчас, представляя в воображении то, что может произойти, когда все обнаружится, ужасалась и стыдилась не столько за свой, как за его позор, монаха и святого отца. Именно потому, что она так думала, особенно остро переживала изменившееся к ней отношение Каширина. Будто он уже знал обо всем, чувствовал беду, считал виноватой во всем ее, Екатерину, и потому теперь злился и ненавидел ее. Он и сегодня, когда Екатерина утром подседа к нему и хотела рассказать о своем горе,— раздраженно ответил: «Нет!»

Так же, как старуха Тельнягина, не зная ни дум, ни переживаний Екатерины, по-своему восприняла ее грустное настроение,— точно так же теперь Екатерина, не зная и даже не догадываясь о том, что тревожило и угнетало святого отца, по-своему истолковала перемены, произошедшие в нем, и оттого еще больше мучилась; но она, если бы даже и хотела, не могла мыслить иначе, чем мыслила, не могла сейчас проникнуться иным чувством, чем то, какое испытывала.

Она не заметила, как мимо окон прошла старуха Тельнягина, с завернутой в одеяльце внучкой, как следом за

ней прошли еще двое: такая же низенькая, как мать, светловолосая дочь Тельнягиной и длинный и тощий, как фитиль, дед Прокоп; Екатерина спохватилась и пошла встречать их, только когда заскрипела наружная дверь и в сенцах послышались голоса и шаги.

В переднем углу, перед иконами, возле которых торчали теперь зажженные свечные огарки, заливая своим особенным, колеблющимся светом лики святых и тусклые, потемневшие, почерневшие и оттого непонятно из чего сделанные узорчатые оклады икон,— перед этим домашним иконостасом, как называл божницу Каширин, перед которым он каждый вечер, облачаясь в черный монашеский наряд, проводил богослужения, установили сейчас на двух табуретках еще не старое оцинкованное корыто и налили в него теплой воды. Все это делала Екатерина, в то время как старуха Тельнягина с внучкой на руках, дочь Тельнягиной и дед Прокоп, хорошо, как видно, «ублаженный» и по случаю уже пропустивший стопку горькой, стояли посреди комнаты и молча наблюдали за приготовлениями; потом к корыту подошел Каширин, освятил его шестиконечным церковным крестом и, зайдя со стороны иконостаса и засучив широкие и длинные рукава своего монашеского одеяния, негромко, но властно и так, чтобы могли слышать все, сказал: «Ну!» — и поднял над корытом оголенные волосатые руки. Те несколько минут, пока старуха Тельнягина, торопясь и роняя пеленки, раздевала внучку, а мать девочки, Тельнягина-младшая, бледная, еще не окрепшая после родов, развернув полотенце, которое должна была передать Екатерине, но не передав его, а прижав ладонями к груди, глядя только на своего ребенка и думая только о нем, продолжала растерянно стоять посреди комнаты; пока дед Прокоп, сразу же переставший улыбаться, и Екатерина, снявшая фартук и вытеревшая о него руки, готовились к торжественному событию,— Каширин, мрачный и злой и не скрывавший своей злости, смотрел на маленькое розовое тельце девочки. Девочка не плакала; она была полненькая, круглая и так доверчиво и, казалось, осмысленно глядела на святого отца, так трогательно, умилившись и окончательно осчастливив этим своим поступком бабушку, тянулась ручонками к иконам и зажженным свечам,— Каширину казалось, что девочка протягивает ручки к нему,— и все в этом

нежном, живом, бесконечно глупом и бесконечно доверчивом существе светилось такой чистотой и непосредственностью, что даже у Каширина на мгновение расправились нахмуренные брови, посветлело лицо, и он, на секунду отключившись от всех иных дум и размышлений, не просто держал руки над корытом, а протягивал их к ребенку, приглашая его к себе и даже слегка поигрывая пальцами. Но он снова нахмурился и помрачнел, едва лишь перевел взгляд на подходивших к купели деда Прокопа, старуху Тельнягиню и особенно Тельнягину-младшую, которая, он сразу почувствовал это, боялась его, именно боялась, а не благоговела перед ним, и худые руки ее, чуть-чуть приподнятые руки матери, казались ему страшными и когтистыми, как у львицы. Каширин полуприкрыл глаза, чтобы никого не видеть. Но теперь, когда он смотрел вниз, на воду, он вдруг отчетливо услышал голос старухи Тельнягиной — она передавала внуку Екатерине и настойчиво твердила: «Ладонь под головку. Ладонь под головку». Ее голос, то-ропливый и нежный, и то, что она делала, было простым, обыденным, житейским, и в другое время Каширин вовсе не обратил бы на старуху внимания, но сегодня — как раз то, что было обыденным, житейским, вызывало в нем особенную неприязнь; он чувствовал, как снова поднималась в нем и закипала беспричинная к этим, пришедшим крестить, но п р и ч и н н а я ко всем людям зависть и злость; не в силах подавить в себе это чувство, он продолжал нахмуренно смотреть на воду, на край корыта и клетчатое платье Екатерины, прижатое к корыту. Ему было сейчас все равно, что он будет делать, зачем делать; он старался только не забыть имя, каким должен окрестить девочку, и то и дело повторял его, шевеля губами: «Настасья, Анастасия».

Он принял девочку из рук Екатерины и сразу же почувствовал, что тельце у девочки горячее; он ощутил это даже прежде, чем увидел в своих ладонях маленькое голенькое существо, по-прежнему тянувшееся ручонками к освещенным иконам; первое, о чем он подумал, это — у него холодные руки; но у Каширина не были холодными руки, он знал, и оттого вторая мысль, возникшая следом за первой, что, может быть, девочка простужена и у нее начинается жар,— эта мысль сильнее всколыхнула его и заставила вздрогнуть. Держа девочку над корытом с водой и не решаясь пока, крестить или не крестить сейчас, он посмотрел

на Екатерину — на лице ее тоже была тревога, она тоже заметила то, что заметил он, и он подумал, что, наверное, все же надо отложить крещение, и уже, чуть вскинув голову, хотел сказать об этом, но старуха Тельнягина, стоявшая рядом с Екатериной и все так же улыбавшаяся, неожиданно громко, как только что говорила Екатерине, сказала святому отцу: «Ладонь под головку, батюшка, под головку», — и ее опять обыденно и по-житейски прозвучавший голос вновь неприязненно обжег Каширина; он еще несколько мгновений колебался, начинать или не начинать, но тут девочка, до сих пор спокойно лежавшая у него на руках, вдруг заплакала, и лицо ее, только что белое, нежное, сразу же налилось краской; и лицо старухи испуганно преобразилось, а Тельнягина-младшая, робко прятывшаяся за спину матери, смотрела теперь из-за ее плеча — Каширин уловил этот взгляд — не просто боязливо, а боязливо-иснавивтно, будто он, монах и святой отец, был для нее вовсе не монахом и святым отцом, а палачом ее ребенка, — Каширин точно угадал ее мысли; негодуя и уже не думая о последствиях, а стараясь лишь поскорее закончить начатое, чтобы разом избавиться и от пронзительного детского плача, и от этих неприятных испуганных лиц, окунул девочку в почти остывшую воду, потом снова поднял над корытом и еще с минуту держал, читая совсем ненужное в таких случаях благодарение богу.

Передав девочку названому отцу и вытерев поданным полотенцем руки, Каширин продолжал стоять на том месте, перед корытом, и так как ему не хотелось ни на кого смотреть, и он глядел вниз, на воду, — по звукам, шороху и оглушительным переговаривающимся голосам вполне представлял себе то, что происходило в комнате; он не видел, у кого была сейчас завернутая в теплые пеленки и затихшая девочка, но знал, что у старухи, и еще знал, что старуха теперь снова счастливо улыбается, и что даже Тельнягина-младшая, — эта счастлива не тем, что дочь окрещена, а тем, что все окончилось благополучно, — тоже улыбается, хотя, может быть, в душе еще не прошел испуг; Каширин с усмешкой представил себе эти преобразившиеся теперь лица и хотя вполне был удовлетворен собой и тем, что совершил, — все же и он чувствовал тревогу; но чужая беда никогда не волновала его так, как своя; он забудет и о крещении, и о девочке, едва Тельнягины и дед Прокоп покинут комнату, и вспомнит об этом лишь много недель

спустя, когда опять окажется на скамье подсудимых и среди двух десятков свидетелей и пострадавших увидит старуху Тельнягину, неузнаваемо исхудавшую, и услышит ее дрогнувший, совсем не похожий на тот обыденный и пожитейски спокойный голос: «Умерла... после крещения...» Но — это будет потом; еще ни Каширин, никто в комнате не знает, что будет даже завтра; святой отец стоит все на том же месте, перед корытом, и видит ноги и юбки подошедших к нему, кланяющихся и благодарящих его Тельнягиных.

— Господь с нами, и он не покинет нас. Ступайте с богом.

Тельнягины ушли.

Едва захлопнулась за ними дверь, Каширин подошел к столу, взял зеленую трехрублевую бумажку, оставленную старухой за «труды», повертел ее в пальцах и тут же брезгливо бросил на стол; потом, скрестив на груди руки, остановился у окна и сквозь тюлевую занавеску стал наблюдать за пустынной улицей. Но в то время как он смотрел на улицу, все его внимание было сосредоточено на том, что сейчас делала Екатерина — она потушила свечи перед иконами и, принеся ворох белья и свалив этот ворох возле корыта, принялась замачивать белье, намыливая и взбивая пену (она каждый раз делала это, чтобы, как она говорила, не пропадала зря теплая вода, и каждый раз Каширин возмущался не только тем, что она замачивала белье в комнате, и запах мыла, этот противный трупный запах, проникая даже сквозь половицы в подполье, вызывал тошноту, но, главное, тем, что она даже не переставляла корыто, а все делала прямо перед иконостасом); еще не оборачиваясь, а слыша только всплески воды и шуршание заталкиваемых в корыто простыней, святой отец с досадой подумал: «Опять!» — и хотел было уже поругать Екатерину, но, повернувшись и увидев ее, склоненную над ворохом белья, ее спокойное лицо, волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке, — сказал совсем не то, что хотел сказать; он просто пригласил ее сесть рядом и поговорить; он почувствовал, что может отдохнуть рядом с ней от всего того, что мучило его сегодня все утро, и ему теперь захотелось сказать Екатерине несколько ласковых слов, как, бывало, говорил ей раньше, в первые месяцы совместной жизни; но когда Екатерина, стряхнув с рук мыльную пену, присела на стул, Каширин опять произнес совсем не то,

что думал; он спросил у нее как раз то, о чем намеревался спросить еще до прихода Тельнягиных, еще когда был в келье, ходил от стены к стене и, негодуя на всех людей, замыслил свое страшное дело с «благословением».

— У кого из верующих ты была дома?

— У многих.

— У этой, как ее, у горбуни?

— Была.

— У Журавиной?

— Была.

— У Ксента?

— Ходила. Кропила углы святой водой.

— Углы святой водой,— повторил Каширин, медленно выговаривая слова, будто смысл, который они содержали, был настолько непонятным и трудным, что требовалось определенное время, чтобы все осмыслить и уяснить.— Та-ак,— протянул он, усаживаясь на стуле поудобнее, как перед большим и долгим разговором.— Ну-ка давай обо всех и поподробнее.

Екатерина, вначале обрадованная тем, что Каширин пригласил ее приесть рядом, обрадованная, главное, его ласковому тону и тому, что сможет наконец сейчас рассказать о своей беременности и потом вместе решить, что ей делать,— теперь, услышав эти неожиданные и странные вопросы и ничего пока не понимая, зачем нужно святому отцу знать разные домашние подробности о жизни верующих,— приходят, молятся, приносят пожертвования, что еще надо! — была озадачена; вглядываясь в нахмуренное и сосредоточенное лицо святого отца, она принялась рассказывать, что знала; Каширин не перебивал ее, а только время от времени произносил: «Та-ак»,— и в этом «так» Екатерина, тревожась и недоумевая, чувствовала недоброе. Но она, потому что ее мучила своя боль, свое несчастье, так и не смогла понять, что же такое недоброе задумал святой отец; только спросила:

— Для чего тебе это, Гриша?

Он ответил:

— Надо.

Ответил деловито и просто, будто речь шла о заготовке дров на зиму или картофеля.

Иван Евдокимович Шевелев тоже был на пожаре, только он бежал к горевшим складам не по меже, не со стороны пшеничного поля, как Каширин, а совсем с противоположной, от товарных тупиков, и потому очутился на складском дворе; вместе с двумя десятками смельчаков он выносил из охваченных пламенем зданий аккумуляторы, выкатывал автомобильные покрывала, выбрасывал камеры и еще поднимал и выносил разные запасные части в коробках и без коробок; кашляя, задыхаясь от удушливой гари, изнемогая от жары и в то же время чувствуя, что есть силы, он опять и опять бросался в распахнутые двери склада, и, когда выбегал с очередной ношей, видел только ревущую толпу во дворе, именно ревущую, так казалось ему, пожарные машины, темные в отвесах огня, длинные шланги, лестницы, каски, струи воды; он всего лишь стряхнул с пиджака сажу и горевшие угольки, когда обломок обугленной стропилины обрушился на его плечо; только через полчаса, когда пожар был потушен, но люди, возбужденные событием, все еще не расходились, обсуждая подробности и глядя на дотлевающие головешки, — только через полчаса, стоя рядом с совершенно незнакомыми ему людьми и оживленно разговаривая с ними, Иван Евдокимович вдруг ощутил резкую боль в плече; сначала он не обратил на это внимания, решив, что просто небольшой ушиб, но боль все усиливалась, и в какой-то момент он почувствовал, что болит не только плечо, но и рука, и что он не может даже пошевелить рукой; он с трудом добрался домой, а под утро машина скорой помощи увезла его в больницу. Но у него не было ни перелома, ни вывиха, просто от сильного удара отекло плечо; на третий день он уже выписался из больницы и лежал теперь дома, обложенный подушками, хотя этого совсем не требовалось, и то просматривал газеты, то полудремал, прикрыв веки, а когда входила жена, молча выслушивал ее упреки.

«Только подумать: не успел приехать, не успел с поезда слезть — и уже на пожаре!»

«Все люди как люди, а ты у меня вечно суешься, куда не просят. Что, разве без тебя эти чертовы склады не потушили бы?»

«А костюм... пропал костюм. Куда его теперь? В ателье на фуражки?!»

«А если бы без руки остался?»

Иван Евдокимович ездил на республиканский семинар пропагандистов по научному атеизму; пожар в городе случился как раз в тот вечер, когда он после тысячеверстного пути, утомленный поездкой, но радостный, что наконец вернулся домой, одетый в свой лучший костюм, вышел из вагона на пятитрубинский перрон. Хотя он сразу же, как только приобрел билет, послал телеграмму, что выезжает, и Валентина точно знала и номер поезда, и номер вагона, но все же не пришла встречать его; она только что переболела гриппом и, боясь новой простуды и осложнений, не решилась в этот прохладный осенний вечер выйти из дому; за Иваном Евдокимовичем была послана горкомовская «Победа». Как раз в тот момент, когда он, бросив чемодан на заднее сиденье, готовился уже влезть в машину, неожиданно заметил за товарными тупиками багровое зарево. Он спросил у шофера, что бы это могло быть, и пока тот вглядывался и соображал, потому что и для него это зарево было совершенной неожиданностью (когда ехал на вокзал, никакого зарева нигде не было),— Иван Евдокимович уже сам догадался, что за тупиками горели какие-то здания, что огонь охватил, наверное, целый квартал; крикнув шоферу, чтобы ехал домой и отвез чемодан, потому что все равно вдоль тупиков на машине не пробраться к пожару, захлопнул дверцу и побежал к горевшим складам... Он лежал теперь дома, обложенный подушками, и, слушая упреки жены, думал совсем не о пожаре; он не жалел, что был испорчен костюм — можно собраться и купить новый; и плечо заживет, не такие раны заживали; он даже был доволен, что поступил именно так, а не иначе, и потому упреки жены не тревожили его; он думал о семинаре пропагандистов по научному атеизму, на котором выступил и сказал, что живучесть сектантства в нашей стране — это, прежде всего, результат нашего равнодушия, равнодушия людей к судьбам ближних, но ему возразили, что он понимает суть вопроса односторонне, а председательствующий даже заметил, что можно говорить о пережитках, но никак не о результате нашего равнодушия. Зал, залитый матовым светом газовых ламп, красное полотнище во всю стену со словами приветствия участникам семинара, президиум за длинным зеленым столом и председательствующий, то ли кандидат, то ли доктор наук,— Ивану Евдокимовичу говорили, что будто бы это был кандидат или доктор сель-

скохозяйственных наук, и называли фамилию, но он не записал тогда, а теперь не мог припомнить,— председательствующий, то и дело постукивавший карандашом по микрофону,— все это Иван Евдокимович видел сейчас в своем воображении, и видел гораздо отчетливее, чем тогда, на совещании. Председательствующий не выходил к кафедре; поднимаясь, горбя и без того сутулую спину, склоняясь над столом и над микрофоном, он бросал в зал фразу за фразой, бросал легко, уверенно, заранее исключая любые возражения, и его голос, усиленный висевшими по углам репродукторами, казалось, прокатывался над притихшим залом. Иван Евдокимович хорошо запомнил этот голос, медлительный и твердый, и особенно запомнил заключительное выступление этого или кандидата, или доктора наук; тот говорил, что надо, прежде всего, разъяснить верующим бессмысленную суть религии, ее ханжеское начало, разъяснять кропотливо, работая с каждым верующим индивидуально; это было верным, но, как считал Иван Евдокимович, не главным; он так считал и был уверен в своих убеждениях, во всяком случае, до поездки на семинар. «Нелепость библейских легенд очевидна, это нетрудно доказать; надо раскрыть перед верующими, кто их пастыри, почему те люди стали пастырями, ради религии или иных целей, верят ли они сами в бога или еще во что, и тогда — секта рассыплется; и тогда — можно уже начинать разговор о нелепости библейских легенд. Надо бороться с равнодушием, тогда не будет обиженных и не нужно будет им искать сострадания у «братьев и сестер во Христе» — так Иван Евдокимович написал в своих «Записках воинствующего атеиста», потому что для него, вот уже много лет подряд ведущего борьбу с сектантами, знающего о сектах и сектантах не по газетам, не из вторых рук,— для него вопрос, с чего именно начинать работу с верующими, не просто маленькое уточнение или тонкость, а самое важное и главное в достижении цели. «Записки воинствующего атеиста» он закончил еще до поездки на семинар и не отослал рукопись в издательство лишь потому, что хотел еще раз просмотреть ее и кое-что выправить; но сейчас, лежа на кровати среди груды белых подушек и думая о семинаре, о выступлении того или кандидата, или доктора наук и о своих «Записках», он уже сомневался, стоит ли вообще посылать книгу в издательство. Как раз предпоследняя глава о людском равнодушии и найденной им третьей истине — объяс-

нение каширинской ненависти,— глава, которую он считал самой удачной и которой гордился, сейчас представлялась ему неточной, путаной; Иван Евдокимович не мог не считаться с мнением, высказанным руководителем семинара или кандидатом, или доктором наук, знал, что так или иначе, а придется перерабатывать «Записки», переделывать именно последнюю главу,— это-то и тревожило и волновало его теперь. Но еще больше волновало воспоминание о том, как он ходил на Ново-Школьную в сектантский молитвенный дом. Это было в воскресенье, в тот день, когда многие участники семинара уже разъезжались по домам; Иван Евдокимович спустился к администратору гостиницы и сказал, что намерен задержаться в городе еще на двое суток, что хочет побывать в музее, на выставке, съездить в знаменитый в этих местах бор и посмотреть пляж, о котором много слышал, но на котором никогда не бывал,— купальный сезон, правда, закончился, но лодочная станция еще работала,— и он, действительно, собрался ехать в бор на пляж, но в самую последнюю минуту изменил решение; не только потому, что ему, как атеисту, было интересно побывать в молитвенном доме, расположенном почти в самом центре большого города,— он бывал в разных молитвенных домах, баптистских и небаптистских, легальных и нелегальных,— и не только потому, что мог услышать там что-нибудь особенное, что потом непременно пригодилось бы в антирелигиозной работе,— просто кто-то из участников семинара сказал ему: «Сходите, сходите, не пожалеете»,— будто речь шла о каком-то представлении, и Иван Евдокимович, выйдя в то воскресное утро из гостиницы, направился не к остановке троллейбуса, не в сторону знаменитого бора, а совсем в противоположную, на Ново-Школьную. Он вспомнил сейчас, как в то утро сел в трамвай, как доехал до остановки «Кольцо», как затем, когда очутился на площади, увидел на той стороне, в глубине улицы, большой четырехэтажный дом, покрашенный в зеленое и белое; еще не пересекая площади, еще стоя у кромки тротуара и вглядываясь в тот дом, Иван Евдокимович неожиданно для самого себя почувствовал робость; это чувство еще сильнее охватило его, когда молодой человек в черном костюме открыл перед ним массивную дверь и, слегка наклонив голову и давая понять этим вежливым жестом, что не прочь видеть гостя в такой ранний час и что даже готов проводить его в зал, где с минуты на мину-

ту начнется месса,— чувство робости еще сильнее охватило Ивана Евдокимовича, когда он, встреченный этим молодым швейцаром (он и теперь считал, что открыл ему дверь швейцар), переступил порог молитвенного дома. Молодой швейцар провел его через довольно просторный и хорошо освещенный вестибюль в зал; и хотя Иван Евдокимович, скованный робостью, больше смотрел на черную спину швейцара и в ту сторону, куда тот вел, все же успел заметить, что и в вестибюле и особенно в зале, уже заполненном людьми, не было той убогости и скромности, какую обычно проповедают сектанты, а напротив, все здесь сверкало позолотой: и рамки с библейскими цитатами, развешанные по стенам, и дверные ручки, и люстры, театрально-роскошные, и, главное, орган из темного полированного дерева и посеребренных труб, которые, как тонкие сверкающие колонны, тянулись к самому потолку; у клавиатуры на маленьком стульчике и маленький по сравнению с огромным органом сидел пожилой человек; повернув седую и наполовину уже лысую голову, он смотрел в зал, но Ивану Евдокимовичу казалось, что он смотрит прямо на него, шагающего между скамеек к первому ряду, где виднелось несколько свободных мест; ему казалось, что все в зале смотрят на него, хотя это было совсем не так; все смотрели в это время на небольшую боковую дверь чуть левее органа, откуда должен был вот-вот появиться девяностолетний старец Катков; по воскресеньям он обычно служил мессу сам, и потому верующие, которым этот старейший пресвитер представлялся самим богом, с нетерпением ждали его появления,— но Ивану Евдокимовичу казалось, что все смотрят на него, и потому он, хотя и старался держаться прямо, гордо, все же невольно сутулил плечи, а когда сел на указанное место, в первые секунды смотрел только вниз, на свои ноги и ковер под ногами, самый обыкновенный узорчатый ковер, какие расстилают в гостиных или вешают на стены. Все эти секунды он боролся со своей робостью, но как ни старался внушить себе, что не он должен робеть, а они, эти по-праздничному одетые и заполнившие зал люди, однако не мог избавиться от неприятного, пробежавшего по спине озноба; было такое ощущение, будто он вошел не в освещенный зал, а в темную пещеру, полную неожиданностей; он и теперь, вспоминая, чувствовал ту же неловкость, робость и даже боязнь, но ни тогда, ни сейчас, когда у него было столько времени для размышлений, он не

мог уяснить себе, отчего эта робость: оттого ли, что все здесь выглядело необычно торжественно, не как в других молитвенных домах, в которых приходилось бывать Ивану Евдокимовичу, или просто оттого, что это был совсем иной мир, иная жизнь, далекая от той, какую он видел вокруг?.. Он не заметил, как в боковой двери появился Катков; лишь по тому, как вздохнул и притих зал, как легкий шорох прокатился по рядам, понял, что что-то произошло; в следующее мгновение услышал мягкий шум шагов, потом увидел ноги шагавших к пресвитерской кафедре — три пары ног, обутых в черные и начищенные до блеска туфли; потом увидел самого Каткова — его поддерживали под локти двое молодых людей. Девяностолетний старец, совершенно белый, с трясущейся бородой и трясущимися худыми, совсем почти высохшими руками, шагал медленно; он прошел мимо хора, мимо проповедников и ведущей двадцатки и опустился на скамью рядом с пресвитером городской общины; как только дрожащие руки его раскрыли библию, маленький лысый человек, сидевший у органа, нажал на клавиши, и в зал полились величественные и торжественные звуки будто знакомой и будто совсем не знакомой Ивану Евдокимовичу мелодии. Сначала играл один орган; потом запел хор; он славил бога перед началом мессы, и все собравшиеся в зале и сидевшие лицом к залу проповедники, пресвитер городской общины и даже этот девяностолетний полубог с трясущейся белой бородой — все, склонив головы, шептали молитвы, и лишь Иван Евдокимович, теперь немного осмелевший, смотрел прямо поверх голов; он смотрел на старца Каткова, на его желтые, обхватившие раскрытую библию и все еще дрожавшие руки, на лысину, блестящую и бледную от света высоких люстр, смотрел не просто потому, что было интересно, как этот немогущий и высохший старик, которому только лежать в гробу, мог еще двигаться, говорить, читать молитвы, а иное любопытство привлекало внимание Ивана Евдокимовича. Он кое-что слышал о Каткове, знал частицу биографии этого старца: Катков лежал у пулемета, когда атаман Анненков, отступая, приказал расстрелять свои полуразбитые полки, специально втянув их в узкое горное ущелье и преградив выход; атаман стоял у камня и поигрывал плеткой, а Катков лежал рядом на желтой сухой траве, разбросав ноги, и нажимал на гашетку пулемета; там, за границей, куда уходил атаман Анненков, он не хотел лишней «обузы», и Катков выполнял

волю атамана. Это слышал Иван Евдокимович; девяностолетний старец, обнявший сейчас библию,— тот Катков. Чем больше вглядывался в него Иван Евдокимович, чем больше думал о том ужасном, что произошло тогда в узком горном ущелье (он слышал этот рассказ от матери; она ездила на подводе за телом своего отца, насильно взятого Анненковым в солдаты и убитого в том ущелье),— чем больше думал о той страшной картине расстрела, тем тверже был уверен, что этот старец — тот Катков. Шевелев уже не робел; он даже забыл, что минуту назад его спина сутулилась от неприятного озноба; и женские голоса хора, и величественные звуки органа, так поразившие воображение вначале, теперь слышались только как отдаленное эхо; Иван Евдокимович представил себе узкое горное ущелье, мечущихся в панике людей, крики, стоны, проклятья; белогвардейцы расстреливали белогвардейцев; но Иван Евдокимович думал не об этом — там были люди, были солдаты, крестьяне, насильно оторванные от плуга и поставленные под черные атаманские знамена, крестьяне, как дед Шевелева, и это было бесчеловечным и страшным; трупы, трупы, трупы, разбухшие людские трупы, и Катков на атаманской тачанке, подъезжающий по пыльной дороге к Кульдже... Спустя несколько лет Катков с Анненковым вернулся в Россию. Анненкова судили, а Катков ускользнул; на него не было улик, о его делах ходили лишь слухи: о нем и сейчас — только слухи, только разговоры, будто он еще в те двадцатые годы, еще тогда, перед возвращением в Россию, был рукоположен в пресвитеры, и рукоположен не кем-нибудь, а самим бруклинским «святым старцем».

«Господь оставил нам семь заповедей, но вы твердо должны знать одну...»

«Не убий?»

«Внушите это вашим мужикам, и у Советов не будет армии». «Не убий!» «Не убий!»

Ивану Евдокимовичу казалось, что именно такой разговор происходил после рукоположения между Катковым и атаманом Анненковым; казалось даже, будто он сам когда-то слышал этот разговор, и голос черного атамана только вновь прогремел над его ухом. «Не убий!» Человек, по приказу Анненкова нажимавший на гашетку пулемета, теперь проповедовал: «Не убий!»

Шевелеву это представлялось так: сектантские молитвенные дома по захолустным деревням и городишкам Рос-

сии, коленопреклоненные толпы верующих и пресвитерские голоса над этими толпами, провозглашающие заповедь «Не убий». Обманутые, запуганные карой господней, мужики отрубали себе руки, чтобы не идти в армию, не брать оружия, насыпали порошу в уши, калечились и потом мучались всю жизнь и умирали, так и не узнавшие своего обмана,— их немного, но они были, эти самоискалеченные люди, и Шевелев, глядя на старейшего пресвитера, так спокойно слушавшего музыку и пение хора перед началом мессы, думал и о тех, кто с молитвой божьей на устах заносил над своей кистью топор. Он преувеличивал, думая так, но он не мог иначе; преувеличивал для того, чтоб разом ощутить всю тяжесть преступлений, совершенных тогда, в те далекие двадцатые годы, этим девяностолетним старцем. Ему казалось, что женские голоса хора и звуки органа раздаются сейчас в зале лишь для того, чтобы заглушить грохот тех пулеметных очередей, глухие удары железа о кости. Он слышал и треск выстрелов и даже, как представлялось ему, слышал шум и стоны падающих на землю безжизненных тел. По спине Ивана Евдокимовича вновь пробежал озноб, теперь уже не от робости, а от ужасов, которые он вообразил. Он мог вообразить те ужасы, потому что в эту войну сам видел, как во фронтовой деревушке отказались взять в руки автоматы трое только что призванных на службу солдат.

«Бери».

«Не могу».

«Бери!»

«Мы живем по заповедям божьим, а заповедь гласит: «Не убий».

«Не убий фашиста?!»

«Человека».

«Труссы! Предатели!»

Он не думал тогда, что расстреляют этих троих,— от них потребовали выполнения воинского долга, потому что не было времени на уговоры, рота готовилась в бой, и еще потому, что все было напряжено в эти первые месяцы войны: войска отступали, откатывались по пыльным дорогам, вгрызались в землю, оборонялись и снова откатывались — за Днепр, за Десну, за Северный Донец, и вместе с раздробленными колоннами тянулись обозы беженцев, подводы, подводы, плачущие ребятишки и пулеметные очереди с пикирующих «юнкеров», убитые по обочинам, убитые ко-

ни, люди,— потому что все было напряжено в те первые месяцы войны: и горечь отступления, и ненависть к фашистам, и боль за людское горе, и, главное, то, что надо снова в бой, снова с бутылками и гранатами против наползающих черных танков,— все это тогда слилось в одном гневном крике:

«Трусые! Предатели!»

Не в тот день, не в первый день десновской обороны,— их расстреляли спустя несколько суток у ветряка, изрешеченного пулями и осколками, у полуобвалившейся после взрыва дощатой стены, и расстреляли за трусость, за дезертирство по приговору трибунала (им дали лопаты и заставили рыть траншеи, но они, эти трое, как только смеркло, побросали все и скрылись в лесу). И приговор трибунала, зачитанный перед строем, и тот разговор, когда новобранцы отказались взять автоматы,— все это теперь представлялось Ивану Евдокимовичу одной неразрывной картиной.

Но не у Десны, не у дощатой стены старого ветряка, не в ту секунду, когда один за другим прогремели три выстрела и вздрогнувшие солдатские тела (Иван Евдокимович отчетливо помнил даже имена тех, поставленных к стенке, рухнули в траву,— все началось раньше, в дождливое августовское утро, когда танковые части шестой немецкой армии прорвали фронт, форсировали Днепр у Окуниново и, угрожая Киеву с севера, передовыми колоннами вышли к Десне. Именно все началось в то синее дождливое утро, и Шевелев, вспоминая, всегда представлял себе и первый бой под Окуниново у днепровской переправы, и весь путь отступления к Десне, и дощатый ветряк, где он формировал из отступавших бойцов новую роту, и все, что было потом — атаки, атаки, наши, немецкие, взрывы снарядов, грохот несмолкающей орудийной пальбы, сирены пикирующих бомбардировщиков, пулеметные очереди и осветительные ракеты над траншеями, разрывавшие ночную темноту... Он увел тогда роту на позиции; рота погибла, обороняя десновскую переправу, и сам Шевелев, дважды раненный в руку, попал в окружение и потом почти целый месяц пробивался к своим с остатками разбитого полка; потом — он видел сотни разных смертей, но те трое, расстрелянные у ветряка, всегда вызывали дрожь; он вспоминал их уже распластанными на траве у дощатой стены; он и сейчас представлял их уже лежащими остывшими и посиневшими трупами и подумал, кто — может быть, этот старец Катков?—

внушил им страх перед божьей заповедью «Не убий»? Они дезертировали, предали Родину. Откуда тянутся нити предательства? Из сектантских молитвенных домов; может быть, даже отсюда, с Ново-Школьной, и наверняка отсюда, с Ново-Школьной, из этого дома, где сейчас, перед началом мессы, хор и музыка так величественно и торжественно воздают хвалу богу. Все может быть. История еще не установила факты, и Иван Евдокимович только думает, что это было так; история еще многое не установила — тысячи документов, покрытые пылью, пожелтевшие, упрятанные в бетонные хранилища, таят от людей правду эпохи; да, истории еще много предстоит установить — и героического и позорного, но Иван Евдокимович не хочет ждать, он думает и представляет себе все, о чем думает, преувеличенно, жестоко, чтобы понять самому и рассказать людям, берущим в руки библию, — смотрите, сколько она принесла людям несчастий и горя.

Он лежал на кровати, обложенный подушками, и старался не шевелиться, чтобы не потревожить больное плечо; но он не хотел шевелиться еще и потому, что боялся нарушить цепь воспоминаний; он думал, кто прав — он сам или тот, сказавший на семинаре свое неопровержимое мнение? — и, чем больше думал, тем, казалось, больше запутывался и отдалялся от истины; запутывался потому, что просто робел перед тем мнением и только боялся признать себя в том, что робел. Раньше он вычеркивал и переделывал главы своих «Записок», потому что то, что было написано им, было неприемлемым прежде всего для него самого; теперь же он должен был переделывать то, что было приемлемым для него, но неприемлемым, как он считал, для других, и потому новая работа над рукописью представлялась ему неприятной и отталкивающей. Но еще более неприятным, о чем он думал теперь, был предстоящий разговор с женой, когда он вынужден будет объяснить ей, почему г о т о в а я рукопись вдруг опять стала н е г о т о в о й, почему он снова все вечера и все воскресные дни должен просиживать в домашнем кабинете за письменным столом и жить не как все люди, а затворником. Такой разговор непременно состоится, Иван Евдокимович знал, что избежать его нельзя; и еще он знал, что Валентина в конце концов смирится со всем и все будет хорошо, но она обязательно скажет: «Зачем же ты делал то, чего делать не нужно

было», — скажет просто, со всей своей женской уверенностью и правотой, и он уже сейчас чувствовал растерянность перед этим ее вопросом. В самом деле, зачем он делал то, чего делать не нужно было? И он опять мысленно начал объяснять себе все сначала, почему он раньше делал в рукописи то, а не это и почему сейчас вынужден будет делать это, а не то; «можно говорить лишь о пережитках, но не о результате нашего равнодушия»; он объяснял себе, а Валентина стояла рядом и разворачивала на столике только что принесенное лекарство для втирания; Иван Евдокимович не видел ее лица, а видел только край коричневого платя и белый локоть, то исчезающий, то появляющийся, но еще по тому, как она вошла в комнату, поспешно, молча, и по тому, что до сих пор не произнесла ни слова, и, главное, как порывисто шуршала сейчас в ее пальцах бумага, которую она разворачивала, Иван Евдокимович понял, что она опять чем-то недовольна, но он не спросил, чем она была недовольна, а покорно снял рубашку и подставил ей для растирания оголенное больное плечо.

— А опухоль у тебя спала, — неожиданно мягко и даже, как послышалось Ивану Евдокимовичу, нежно сказала Валентина, наклонясь, разглядывая плечо и ощупывая его тонкими холодными пальцами. — Но синяк еще большой, — добавила она и покачала головой, как врач, довольный ходом болезни; но Иван Евдокимович по-прежнему не видел ее лица, а только ощущал теперь над ухом теплое дыхание и с удивлением думал о неожиданной и такой быстрой перемене в настроении жены. То, что она только что была чем-то недовольна, — в этом Иван Евдокимович нисколько не сомневался; за десять с лишним лет совместной жизни он хорошо изучил все ее привычки и мог даже по стуку шагов определить, сердится она или не сердится; но что так быстро изменило ее настроение сейчас? Все еще удивляясь этому и продолжая ежиться от ее щекочущего над ухом дыхания, — Валентина теперь накладывала мазь на плечо и делала это особенно осторожно, потому что Иван Евдокимович ежился, как ей казалось, от боли, — Иван Евдокимович незаметно для самого себя полностью отключился от тяготивших его дум о московской поездке и предстоящей неприятной работе над «Записками» и стал размышлять о своей семейной жизни, о Валентине, которую он когда-то, десять с лишним лет назад, впервые встретил в деревенской клубной библиотеке и которая была ему теперь самым

близким человеком. Он так и не узнал, чем она была только что недовольна (она ездила в дальнюю аптеку, на третий кордон, долго ждала автобуса, а потом в автобусе было очень тесно и душно, и кто-то все время подталкивал ее локтем в спину; и в довершение ко всему автобус на половине пути остановился, потому что заглох мотор, и пришлось почти четыре километра идти пешком по пыльной мостовой, а туфли она надела на высоком каблуке,— в общем, человеку нужно очень немного, чтобы испортить себе настроение); так и не узнал, почему она переменялась и заговорила ласково (она увидела, что опухоль на больном плече опала, и это было лучшей наградой за все ее хлопоты,— не очень много нужно человеку и для того, чтобы обрадовать его); он так ничего и не узнал, потому что не стал ни о чем расспрашивать; он любил Валентину именно такой, ласковой и нежной, и теперь, чувствуя ее близость, ее пальцы, мягко и нежно скользившие по телу, не хотел нарушать этой приятной минуты.

— Тебе не больно?

— Нет.

Через секунду она снова спрашивала:

— Тебе больно?

Иван Евдокимович даже подумал, что, может быть, как раз сейчас и рассказать жене о том, какая работа еще предстоит ему над рукописью «Записок», и, взглянув ей в глаза, начал было: «Знаешь что, Валя»,— но в это время в коридоре раздался звонок, кто-то пришел к ним в гости, и Валентина, отложив мазь и вытерев марлей руки, пошла открывать дверь.

Вскоре из передней послышался ее оживленный голос:

— К тебе, Ваня.

— Кто?

— Василий Федорович Левашов.

Иван Евдокимович улыбнулся, вспомнив, что давно уже не видел секретаря рудничного парткома, что последний раз заходил к нему перед самым отъездом на семинар,— когда Левашов узнал, на какой семинар, скептически качнул головой и заявил, что религия давно уже умерла, что она умерла еще в семнадцатом на рабочих и солдатских штыках, штурмовавших Зимний, и что теперь, спустя столько лет после революции, когда у нас сплошная грамотность, утверждать, что кто-то всерьез может поверить в существование бога, просто смешно, нелепо, удивительно, и удиви-

тельно и нелепо, что некоторые люди еще могут съезжаться на семинары и говорить об этом давно умершем деле,—Иван Евдокимович улыбнулся, вспомнив тот разговор и, главное, то, как они сухо тогда распрощались, и Левашов даже не подал руки; этот самый Левашов стоял сейчас в передней, разговаривал с Валентиной, и Иван Евдокимович хорошо слышал и то, о чем они говорили — о его здоровье — и то, как говорили, как учтиво и дружески звучал голос секретаря рудничного парткома. Неловко повернув плечо, сморщась от боли и тут же забыв про эту боль, Иван Евдокимович торопливо надел рубашку и, не дожидаясь, пока Левашов войдет в спальню, крикнул: — Василий Федорович!..

Но Василий Федорович уже стоял на пороге, высокий, подтянутый, в своем обычном сером костюме, в каком всегда Иван Евдокимович видел его на работе, в галстук, подвязанном модным теперь тонким узлом, и в очках, круглых и больших, придававших особенную серьезность его лицу; он сначала кивнул головой, приветствуя издали, потом подошел к постели и пожал протянутую теплую руку. Вошедшая с ним Валентина пододвинула ему стул, и Левашов, поблагодарив ее и усевшись на этот стул, достал из кармана пачку папирос и, только спросив, можно ли закурить, и не дождавшись ответа, размял папиросу, прикурил ее и бросил пачку на столик, где все еще стояла раскрытая баночка с мазью и лежали вата и марля; он проделал это так непринужденно и просто и так мягко, с той же легкостью и непринужденностью положил спичку и стряхнул пепел в протянутую пепельницу, что даже Валентина, не любившая, когда в доме курят, улыбнулась и не только не заметила ничего неприличного в поведении гостя, но и была, как казалось, польщена его учтивостью. Зато Иван Евдокимович, который знал Левашова иным, действительно учтивым и действительно вежливым, сразу же заметил, что секретарь парткома чем-то встревожен и потому закурил и так небрежно бросил пачку на стол; Иван Евдокимович особенно ясно заметил это, когда Левашов, спросив: «Ну, как себя чувствуешь, ключица не перебита?» — и не дослушав, что ключица цела, задал новый вопрос: «Долго ли пролежишь в постели?» — потом еще вопрос, приходят ли врачи и кто лечащий врач, будто знал всех врачей в городе и мог дать дельный совет, но когда была названа фамилия, никакого совета не дал, а сразу же заговорил о другом, о причине

пожара, возникшего будто бы оттого, что загорелась проводка на чердаке... Левашов говорил обо всем этом лишь для того, чтобы казаться учтивым, чтобы то, что действительно интересовало и занимало его и что, собственно, привело в этот дом, то, о чем он только еще намеревался рассказать, не показалось хозяевам дома главным, а чтобы главным в беседе было это — разговор о здоровье больного; и все же когда он, достав из кармана пиджака маленький нагрудный крестик и передав его Ивану Евдокимовичу, сказал, что так и е штучки штампуются на комбинате, но что обнаружилось это только вчера, что как раз перед пересменой начальник цеха принес в кабинет и высыпал на стол целую грудку таких медных крестиков,— и для Ивана Евдокимовича, и для Валентины главным в разговоре сразу же стало именно это, и Левашов, совсем забыв об учтивости, забыв, к кому пришел и зачем пришел, заговорил просто, естественно, как будто находился у себя в кабинете, и та непосредственность, казавшаяся вначале неприличной, теперь была столь же необходимой, как и все, что он делал — повышал голос, хмурил брови, жестикулировал, усиливая слова. Он возмущался, а Иван Евдокимович, который не видел в случившемся ничего необычного,— сектанты и церковники действовали и будут действовать,— для которого это было лишь звеном в длинной цепи преступлений, совершенных разного рода святыми отцами, удивлялся не тому, что на комбинате нашелся человек, слесарь-инструментальщик, который смастерил ручной прессовальный станок и тайно штамповал на нем из медных пластинок крестики,— удивлялся другому, тому, что в городе определенно свирепствует большая группа сектантов (он даже подумал, какая община: только община последователей истинной православной церкви может заказать крестики), а он ничего об этой группе не знает; он вспомнил процессию со святой водой, которую видел в горах, пророчицу, которая так понравилась ему тогда,— еще тогда он подумал, что есть в городе секта, и хотел заняться ею, но все откладывал, потому что заканчивал «Записки атеиста», был занят по вечерам, и вот — секта вновь проявила себя, но уже не процессией со «святой водой», а крестиками.

— Что же он сказал?—спросил Иван Евдокимович; возбужденный разговором, он уже не лежал, а сидел на кровати, высунув из-под одеяла и свесив босые ноги.— Он сказал, для кого делал крестики?

— Дело в том, что он ничего не хотел говорить. Я считаю, самое страшное именно в том, что он ничего не хотел говорить.

— Но все же для кого-то он делал крестики?

— Так он сказал: для того, для кого делал, того в городе сейчас нет, а придет только к концу месяца. Но как этому верить?

— Значит, за каз был со стороны.

— Следственные органы точно установят, со стороны или не со стороны; дело тут еще вот в чем,— Левашов снова полез в карман и, достав бумажку и развернув ее, прочел:— «Политотдельская, 3». Дело тут еще вот в чем. Этот адрес мне дал один наш рабочий. Он живет там же, на Политотдельской. Так он говорит, что в доме, что напротив его окон, каждый день собираются верующие, молятся, поют псалмы; говорит, будто бы даже и детей там крестят, уверяет, что сам своими глазами видел.

— На Политотдельской... какой номер?

— Три.

— Валя, Валюша, запиши-ка, пожалуйста, этот адрес,— сказал Иван Евдокимович жене, которая была на кухне и теперь только-только вновь появилась в спальне; проследив за тем, как она взяла из рук Левашова развернутую бумажку и направилась к письменному столу, Иван Евдокимович, повернувшись к секретарю парткома и теперь опять обращаясь к нему, заговорил:— Этот адрес я ищу с самой весны. Помните, я рассказывал вам о процессии со «святой водой»? Я тогда еще чувствовал, что они где-то собираются, где-то молятся, но где, в каком доме?.. Вы очень хорошо сделали, что записали этот адрес. Там молитвенный дом, там мы найдем развязку «крестикам». Нет, вы просто сделали большое дело. Вы даже не представляете, какое вы сделали большое дело.

Но Левашов, не разделяя и не желая разделять этого восторга, а еще задумчивее и угрюмее, чем прежде, сказал, что то, что случилось на комбинате, и то, что в Пятитрубинске есть молитвенный дом, событие отнюдь не отрадное, а скорее позорное. Услышав эти слова, Иван Евдокимович улыбнулся той скрытой, внутренней улыбкой, как человек, явно чувствующий свое превосходство, улыбкой, какую нельзя заметить на лице, а можно увидеть только в глазах, и, выждав минуту, словно собираясь с мыслями, но на самом деле лишь повторяя и отшлифовывая давно уже

приготовленную для этого случая фразу и заранее наслаждаясь тем, какое впечатление произведет эта фраза на секретаря парткома, произнес: «Жизнь чаще, чем мы предполагаем, опрокидывает наши утверждения, потому что сами эти утверждения построены больше на логике, чем на противоречиях жизни»,— произнес неторопливо, особенно выделяя «на логике» и «на «противоречиях», чтобы секретарь парткома мог уловить не только философский смысл этих слов, но и определенный намек, какой Иван Евдокимович вкладывал в них и в тон голоса; но Левашов не заметил ни намека, ни философского смысла, а продолжал все так же угрюмо говорить о позоре, и тогда Иван Евдокимович, которому все же хотелось подчеркнуть свою правоту и те неправильные прежние взгляды на религию секретаря парткома, сказал теперь прямо, без намеков, что уважаемый Василий Федорович еще совсем недавно, буквально полторы недели назад, имел иное мнение, что лекцию на атеистическую тему так все же и не включил в план мероприятий.

— Я и сейчас не вижу в этом серьезной ошибки,— спокойно ответил он.

— А крестики?

— Это не по религиозным убеждениям, а за деньги. Выгодная сделка, рвачество, уголовное дело.

— Пожалуй, вы правы. Но позвольте, позвольте,— Иван Евдокимович нахмурился, сдвинув к переносице брови; он всегда делал так, когда хотел подчеркнуть напряженную работу мысли.— Может быть, вы и правы, я говорю, может быть, потому что все в природе имеет свой круговорот,— и он теперь сделал ударение на слове «круговорот», как на чем-то особенном, что могло разом рассеять все сомнения, и уже, оттолкнувшись от этого удачного, как он считал, слова, стал рассказывать, какой круговорот могут совершить эти медные крестики, как они через пастырские руки могут попасть в горняцкие семьи сначала к старухам, а те старухи, бабушки, разумеется, могут повлиять на внучат, внучек и даже на своих взрослых детей, на тех самых рабочих комбината, где Левашов возглавляет партийную организацию; кто знает, может быть, такой круговорот в какой-то мере уже совершился, а люди бывают разные, сильные духом и слабые, и как раз слабые могут попасть под влияние сект, если вовремя не принять нужные меры... Этими рассуждениями Иван Евдокимович

хотел только еще раз доказать свою правоту, но, все больше и больше увлекаясь и горячась, он уже забыл о том, для чего начал этот разговор, а говорил вообще, возмущаясь и преувеличивая, о сектантских делах; то, о чем он вспоминал до прихода Левашова — о молитвенном доме на Ново-Школьной, о старце Каткове и атамане Анненкове, — он рассказывал теперь обо всем этом секретарю парткома, не давая ему возможности ни возразить, ни даже вставить слово; когда Левашов, поднимаясь со стула и протягивая руку, сказал, что и так уже засиделся, что пора уходить, Иван Евдокимович огорченно заметил, что не успел еще рассказать о Бруклине, что, ко всему прочему, существуют всемирные центры почти всех сектантских направлений и что большинство этих центров находятся в Соединенных Штатах Америки.

Иван Евдокимович был настолько возбужден, что и после ухода Левашова еще некоторое время продолжал развивать свою мысль о мировой сети сектантских общин; он на минуту представил себе Бруклин, небоскребы, сектантские банковские счета, гудящие типографии, в которых набираются и переплетаются библии, евангелия и иные так называемые «священные» книги, противочеловеческие, отравляющие людские души, зовущие к предательству и самоотреченности; но он держал в руках оставленный секретарем парткома медный крестик, и этот крестик, поблескивающий на свету гранями, вскоре заставил Ивана Евдокимовича вновь вернуться к размышлениям о пятитрубинском молитвенном доме. Он подумал, что надо бы сходить туда и узнать, что за секта, и, вспомнив, что сегодня четверг, день молений (обычно верующие собираются на служения по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам — это Иван Евдокимович хорошо знал), что именно сегодня можно застать верующих в сборе, решил пойти сейчас и, позвав Валентину, попросил ее принести костюм, чистую рубашку и галстук.

— Ты с ума сошел!

— Надо, Валюша, надо.

— Ты с ума сошел!

Он не сказал жене, куда и зачем пошел; выйдя на улицу и почувствовав себя свободным от той домашней опеки, которая теперь казалась ему тягостной, он сразу же напра-

вился к остановке автобуса. Большой бело-голубой автобус с буквой «Л» под лобовым стеклом вскоре привез его на третий кордон — самую отдаленную, примыкавшую к вокзалу часть города, и Иван Евдокимович, не зная точно, где улица Политотдельская, а лишь предполагая, что должна быть в этом районе, пошел по тротуару наугад в сторону вокзала, читая таблички на угловых домах; он не очень торопился, потому что было только половина шестого, а служение начиналось в шесть, и он хотел застать всех верующих в сборе; но хотя он и не торопился и пришел даже не к шести, а к половине седьмого, потому что долго плутал, разыскивая улицу, — все же не застал верующих; когда он, постучавшись, вошел в дом, в комнате не было коленопреклоненных старух, а была только одна пророчица, открывшая ему дверь, та самая пророчица, которая возглавляла шествие со «святой водой» и надменно и косо, не повернув головы, взглянула тогда на него, Ивана Евдокимовича, молча уступившего ей дорогу, — она и сейчас посмотрела на него так же надменно и косо, но Шевелев не заметил ее недружелюбного взгляда; он увидел большую божницу в переднем углу, и тусклые иконы, освещенные слабым светом двух горевших свечей, сразу же привлекли его внимание. Иконы были старые, выцветшие, и медные оклады на них тоже почернели, и лишь в центре икона Христа, одна из всех, сверкала начищенной ризой; но не ветхость и запущенность этого «божьего уголка» поразили Ивана Евдокимовича; вначале, когда он вошел в пустую комнату, смутился и решил, что ошибся адресом, но теперь, когда увидел эту божницу, оборудованную, конечно, не для одной семьи и не для одного человека, а для массовых молений, для службы, как иконостас, — когда он увидел эту божницу, понял, что пришел именно в молитвенный дом, но тем и неожиданнее было то, что он не застал сегодня здесь верующих; он подумал, неужели их успели предупредить, но как и кто — это-то и было поразительным и непонятным. Уходить так, не выяснив ничего, не хотелось, но и открывать истинную причину своего появления в этом доме тоже не хотелось; назвав себя новым агитатором по этому участку, Иван Евдокимович уже на правах агитатора, не ожидая повторного приглашения, прошел в глубь комнаты и остановился у иконостаса; он остановился как раз на том месте, где вчера стоял Каширин, когда крестил маленькую Тельнягиню, и так же, как тогда лицо святого отца, теперь

полное лицо Ивана Евдокимовича было освещено желтым вздрагивающим светом горевших свечей и оттого тоже казалось таинственным, как у проповедника; Иван Евдокимович не знал этого; это заметила Екатерина, стоявшая у порога; она даже на минуту оцепенела, увидев такое сходство, и, прошептав: «Господи», — мысленно перекрестилась; она заметила еще, что лицо Ивана Евдокимовича было добрее, чем тогда лицо Каширина, и оттого в нем было больше «святости»; но она тут же спохватилась, взглянув на полновицы и вспомнив о Каширине, с которым жила и о котором потому было грешно думать плохо; она снова прошептала: «Господи», — и перекрестилась, теперь уже не мысленно, а на виду у гостя, не стесняясь и не боясь, что он скажет. Но Иван Евдокимович все еще пораженный тем, что не застал верующих, и думая пока только об этом, даже не смотрел на пророчицу; он разглядывал комнату; увидев на столике евангелие, молча подошел и полистал его; он был настолько поглощен выяснением причины, — почему? — что даже не следил за собой, за тем, что делал и что неловко молчал. «Почему?..» Но в сущности причина была совсем другая, чем та, какую представлял в своем воображении Иван Евдокимович. Никто не предупреждал верующих о его приходе. Произошло вот что: вчера вечером Екатерина, наконец, рассказала Каширину о своей беременности и о том, что уже нашла бабку, которая обещала все сделать скрытно, так, что никто из верующих ничего не узнает, и, главное, согласилась сделать за небольшую плату — сколько принесешь, дескать, на том и ладно; Каширин, мрачный и злой в эти дни, выслушав Екатерину, сначала молчал, раздумывая, а потом благословил, и вот — Екатерина, обрадованная, что все для нее разрешилось, еще утром оповестила всех верующих через старуху Алферову, что уезжает на несколько дней в Стасовку и служений в эти дни не будет; не будет не только потому, что уезжает она, но, собственно, и она-то уезжает только из-за того, что святой отец Григорий, этот «божий человек и заступник наш», решил уединиться, чтобы «ни звука людского над головой, ни шума шагов, а помолиться в тиши за нас, грешных». Все нужные вещи уже были собраны и связаны в узелок, продукты уложены в корзину, и Екатерина ждала только вечера, чтобы незаметно, не заходя на вокзал, а прямо по тропинке через гору спуститься в соседнее село, где и жила та бабка; до села было около четырех километров, идти одной страшно,

и потому Каширин должен был проводить ее хотя бы до перекрестка; в тот самый момент, когда святой отец готовился выйти из подполья, чтобы собраться в дорогу, в дом постучался и вошел Иван Евдокимович Шевелев. Иван Евдокимович все еще листал евангелие, даже и не подозревая, что под половиком, на котором он стоял, был лаз в подполье, и в эту минуту там, в подполье, волнуясь и напрягая слух, чтобы не пропустить ни одного слова, стоял во весь рост возле этого лаза Каширин.

— «Миссионерское общество, Бруклин, 1923 год», — прочитал Иван Евдокимович надпись на титульном листе евангелия и, повернувшись к Екатерине, впервые за все эти несколько минут, пока был в комнате, заговорил с ней, не смущаясь ни своим долгим молчанием, ни тем, что она тоже молчала и была явно недовольна и приходом гостя и его бесцеремонным хозяйничанием в квартире. — Берлинское издание?

— Нам все равно — книга божья, а бог для всех один.

— Сами читаете?

— А то кто же?

Еще когда переступил порог, Иван Евдокимович узнал пророчицу, но она не показалась ему миловидной и привлекательной, как тогда, в горах, потому что он вошел со света в полусумрачную комнату и не мог сразу хорошо разглядеть ни ее лица и прически, ни ее платья; теперь же, повернувшись к ней и разговаривая с ней, он видел ее всю, освещенную с одной стороны мерцающими огоньками горевших свечей, с другой — светом, падавшим из окна, и то прежнее чувство, которое возникло в нем после встречи с пророчицей в горах, теперь вновь постепенно охватывало его; но, глядя на ее волосы, сколотые шпильками на затылке и чуть-чуть взлохмаченные сползшим на плечи платком, любясь этой очень идущей ей милой женской прической и глядя на ее стройную — она стояла так, что не было заметно ее полноты — фигуру, на ее грудь и круглые плечи, обтянутые цветной ситцевой кофтой, на юбку, расклешенную, но облегающую бедра так, что нельзя было не заметить стройности и точности ее ног, — глядя на Екатерину и называя ее теперь по имени, потому что как агитатор он записал в блокнот все данные о хозяйке этого дома, — называя ее по имени и незаметно для самого себя придавая голосу при этом особенную теплоту и мягкость, он все же ни на секунду не забывал то, зачем пришел в этот дом, и

то, кем была хозяйка этого дома; он стоял перед Екатериной, положив ладонь на обложку теперь закрытого евангелия, и с удивлением спрашивал ее, как она живет, нигде не работая?

— В стирку беру.

— Приносят?

— Приносят.

Ответ хотя и показался Ивану Евдокимовичу искренним, но только еще больше удивил его, потому что ни в комнате, которую он сейчас снова обвел взглядом, ни на кухне и ни в сенцах, через которые он проходил, когда вошел в дом, ничто не напоминало о том, будто здесь стирают чужое белье; и руки Екатерины не были похожи на руки прачки,— этого тоже не мог не заметить Иван Евдокимович; однако он ничем не выдал своего удивления, а напротив, сделал вид, словно поверил всему, что услышал; но он и на самом деле хотел поверить не в то, худшее, о чем он думал, а в то, лучшее, что говорила ему Екатерина, потому что видел в ней больше женщину, чем пророчицу; он всегда, сколько ни учила его жизнь, считал, что человек от природы более правдив и что несет в себе, прежде всего, доброе начало. Между тем, думая так, он то и дело поглядывал на иконы — их было около десяти; заводить разговор о религии и божестве в этот первый день знакомства было опрометчиво, потому что можно сразу насторожить пророчицу и усложнить себе работу, и еще бессмысленно, потому что откровения все равно не получится; и все же, зная это, Иван Евдокимович не удержался и, кивнув в сторону икон, шуточно произнес:

— Настоящий иконостас!

Екатерина не ответила.

— Только для себя?

— Дом ни для кого не закрыт.

— Ходят к вам молиться?

— Ходят.

— Кто?

— Соседи, кто еще?

Разговор не получался, но, несмотря на это, Иван Евдокимович был доволен разговором; он узнал все, что хотел узнать сегодня, однако в то время как он думал, что доволен и рад оттого, что все узнал, на самом деле был доволен и рад другому, тому, что увидел пророчицу, увидел ее одну, и что эта женщина с завидными чертами устояв-

шейся крестьянской красоты, дородности и здоровья, надменно и косо взглянувшая на него в горах, вовсе не была строгой и гордой, а была робкой и стеснительной и, как казалось Ивану Евдокимовичу, смотрела на него сейчас даже тепло и приветливо; он не стал ни уговаривать ее поступить на работу, потому что, дескать, чувство коллектива — это великое чувство, ни уверять, что бога нет и что она была бы счастлива и увидела совсем иную жизнь, если бы поняла, что властелин земли — это человек, ни тем более пугать ее, что нелегальные сборища верующих запрещены законом; пожелав ей доброй ночи и пообещав на днях снова заглянуть к ней как агитатор, — при этих словах чуть заметная тень смущения и тревоги пробежала по лицу Екатерины, — пообещав зайти к ней на днях, он попрощался и вышел на улицу, возбужденный, наполненный радостным ощущением жизни. Жизнь была вокруг и в нем самом, и все, что он сделал и что предстояло ему сделать — работа над «Записками», встречи и разговоры с пророчицей, лекции в рабочем клубе и, главное, то, что секретарь парткома Левашов хотя еще и не признал своей ошибки, но все же кое-что уже признал, — все это казалось простым, ясным, сбыточным, и он улыбался, шагая к автобусной остановке и глядя в сырую темноту улицы.

Но в то время как Иван Евдокимович думал, что все для него теперь просто и ясно, что ничего не может быть более того, что он узнал, побывав у пророчицы; в то время как он, уже сидя в автобусе, строил планы, как займется теперь пятитрубинскими верующими и, прежде всего, конечно, пророчицей; в то время как он считал, что главная и самая большая неприятность, связанная с молитвенным домом, это заказ на крестики, — на самом деле события развивались совсем в ином направлении. Крестики делались не для пятитрубинских верующих; ни Каширин, ни Екатерина ничего не знали о крестиках; заказчиком был другой человек, церковный экспедитор; он только что прибыл в город с вечерним поездом и сейчас ехал вместе с Иваном Евдокимовичем в одном автобусе и — бывают же в жизни такие случайности, в которые даже трудно без удивления поверить! — сидел с ним рядом, держась одной рукой за поручни переднего сиденья, другой — обхватив ручку чемодана, и Иван Евдокимович то и дело поглядывал на его

старомодную бобриковую тужурку. Пройдет несколько недель, прежде чем вся эта история с крестиками вскроется, и Иван Евдокимович, увидев церковного экспедитора, представшего перед судом, с удивлением подумает, что лицо подсудимого очень знакомо, и будет вспоминать, а человек сейчас сидит с ним рядом и, повернувшись, спрашивает, на какой остановке лучше сойти, чтобы попасть к универмагу?

— На остановке «Универмаг».

— Спасибо.

В то время как Иван Евдокимович был убежден, что главным событием является все же история с крестиками, главным было другое событие — болезнь окрещенной Кашириным девочки; она еще не умерла; в этот вечер старуха Тельнягина и мать девочки, Тельнягина-младшая, все еще надеясь на милость божью, пока лишь вели разговоры о том, вызывать или не вызывать машину скорой помощи; к утру все же девочку отвезут в больницу, и отец девочки, извещенный телеграммой, срочно выедет в Пятитрубинск, — это событие станет главным и потрясет горожан, но до этого произойдет еще одна и странная и страшная неожиданность, свидетелем которой будет сам Иван Евдокимович, когда решит вторично навестить пророчицу, подготовившись на этот раз к большой с ней беседе... Да, главными будут совсем иные события, чем те, о которых думал сейчас, возвращаясь домой, Иван Евдокимович; он вышел из автобуса все в том же приятном расположении духа, и так как вечер ему казался теплым, а воздух — удивительно чистым, он решил еще немного пройтись по тротуару вдоль улицы; но, проходя мимо своего дома, он заметил Валентину, закутанную в шаль и стоявшую у подъезда; обычно ему было приятно, когда Валентина беспокоилась и ждала его, и он в такие минуты был особенно нежен и ласков с ней, но сейчас, может быть, потому, что он все еще думал о пророчице, представляя ее в своем воображении такой, какой видел только что, во время разговора, и хотел еще думать о ней, — встреча с женой только вызвала чувство досады. Но это чувство досады ничуть не помешало ему так же поспешно, как всегда, подойти к Валентине, улыбнуться ей и обнять ее за плечи, а потом, взяв под руку, подняться по коридору в комнату. Он был оживлен и весел, и Валентина, глядя на него и по-своему понимая, почему ее Иван Евдокимович сегодня так оживлен и весел, совсем неожиданно для него спросила не о том, где он так долго

ходил, а о другом, о том, как ему понравился молитвенный дом?

— Ты думаешь, я туда ходил?

— Ладно уж, рассказывай.

— Знаешь что, Валюша, здесь, в Пятитрубинске, обосновались не баптисты и не адвентисты, а община истинных православных церковников. Это монархическая община.

— Монархическая? Снова, значит, царь и престол?

— По-видимому.

— И верят в это?

— Верят ли, нет ли, трудно сказать. Сами они, по крайней мере, так объясняют: в молитвах и канонах, дескать, упоминается царь, а молитвы изменить нельзя, вот и провозглашают славу и богу и царю. А в общем-то, направление это в религии возникло в конце двадцатых годов в Ленинграде. Это — тихоновцы. После того как патриарх Сергей призвал церковь отказаться от борьбы с Советской властью, тихоновцы отделились от действовавшей православной церкви и создали свою организацию, свои общины, контрреволюционные и монархические. Да, кстати, в Мадриде до сих пор живет какой-то проходимец, именующий себя «императором всероссийским». Может быть, они думают о возврате на престол этого «императора»? Смешно, разумеется: «За царя ба-атюш-ку...» — последние слова Иван Евдокимович почти пропел, неестественно изменяя голос и подражая церковникам, и тут же снова заговорил, продолжая прерванную мысль. — Ты помнишь, Валя, в Афимовке монаха судили? Там была точно такая же община. Но здесь, кажется, еще до изуверства не дошло дело, здесь еще только все в зачатии, — и он стал подробно рассказывать обо всем, что видел в доме на Политотдельской и что думал по поводу этого увиденного; он рассказал об иконах, о крестиках, которые, как он все еще полагал, закладывались непременно там, и о пророчице, упомянув даже, что она молода и красива и что просто удивительно, как такая женщина стала верующей.

Когда были потушены огни и он, лежа на кровати (опять обложенный подушками) и чувствуя легкую боль в плече, снова вспомнил все подробности сегодняшнего вечера, — он вдруг подумал, что пророчица, наверное, живет не одна, что она только сторожит дом, а возглавляет общину и проводит служения кто-то другой, может быть, какой-

нибудь старец, а может быть, молодой, вроде того афимовского монаха; уже засыпая, он решил завтра же снова сходить к ней, но пошел он на Политотдельскую только на третий день, в субботу, опять рассчитывая застать там всех верующих на служении.

глава шестая

Этот субботний вечер был для Екатерины самым тяжелым в ее жизни, и не только потому, что она, вернувшись от бабки после неудачного аборта, теперь лежала в постели и чуть не плакала от болей, временами, как приступ, охватывавших все тело,— главное, что тяготило ее, это раздумья о прожитой жизни; особенно мучительным было воспоминание о матери, матушке Василисе, и тех двух кладбищах — одно, большое, с крестами и оградами, начинавшееся сразу же за овражком, в конце огородов, и другое, маленькое, за сараем, где матушка закапывала иногда еще ни на что не похожие, иногда уже с ручонками и ножками трупки,— именно эти два кладбища, всегда угнетавшие Екатерину, теперь особенно отчетливо вставали в воображении и были главной причиной ее мучений. «Господи! — шептала она, шевеля вспотевшими губами и глядя прямо с кровати на большую икону Христа, под которой еще горела зажженная Кашириным несколько часов назад толстая восковая свеча.— Господи! Посмотри на мои мучения и пошли мне благодать твою, да прославится имя твое светлое, господи! Пошли мне благодать твою, пошли, пошли, пошли-и...» Матушка Василиса обычно все делала ночью: в темноте выкапывала ямку, маленькую могилу, в темноте выносила накрытый мешковиной таз и вываливала из него все в эту приготовленную яму, потом торопливо закидывала ее землей, разравнивала и утрамбовывала каблуками; а утром, когда Екатерина выбегала на огород, сразу же замечала под стеной круг притоптанной сырой земли и догадывалась обо всем, что здесь происходило ночью; она шла к сараю, становилась на углу, как раз под застрехой, в перекрестии серых бревен, и молча смотрела на это маленькое кладбище, мысленно воздвигая на нем еще один крестик и оградку над свежей могилкой. Сейчас, вспоминая, она не только ясно видела те круги притоптанной сырой земли под бревенчатой стеной и себя самое, босую, стоящую в ситцевом платице у сарая, но и испытывала то же чувство тре-

воги и страха, как и тогда, в детстве, и даже, как ей казалось, утреннее солнце, встававшее над плетнями и огородами, над мрачными крестами деревенского кладбища, — это солнце, казалось ей, и сейчас так же тепло пригревало щеку, плечо, босые, обрызганные росой ноги; она чувствовала это тепло, и оттого еще страшнее представлялся холод могил; она обычно стояла у сарая до тех пор, пока во дворе не раздавался зовущий голос матушки Василисы. Екатерина не могла спокойно слышать голос матушки; больше всего на свете она ненавидела сейчас этот всегда желавший ей только добра, добра материнский голос: «Катерина-а!» Но еще отчетливее, чем прожитые в Стасовке годы, представлялось Екатерине то, что произошло с ней вчера у бабушки; она все хорошо помнила: как переступила порог тоже стоявшей на краю поселка избы, как бабука, полная и обрюзгшая старуха, попросившая называть ее не иначе как только по имени и отчеству — Агафья Митрофановна, — как эта полная и обрюзгшая старуха сразу же спросила у Екатерины, все ли она принесла, что нужно.

«Все, Агафья Митрофановна».

«Ну раз все, то ступай ложись и готовься».

«Так сразу?»

«А ты что же, милая, думала, неделю с тобой вожжаться стану? Ступай и готовься. Положь образок под голову, так оно легче, да смотри кровать своим застели, слышишь?»

Женщинам, которые приходили к матушке Василисе (они приходили тоже ночью или на заре, крадучись, чтобы никто не видел), матушка Василиса тоже говорила, чтобы кровать своим застилали, говорила так же резко и властно, а сама отправлялась на кухню готовить воду и свои примитивные инструменты — вязальные иглы; тот всплеск наливаемой в таз воды и звон перебираемых игл приводил в трепет Екатерину; она никогда не думала, что и ей вот так же, как тем женщинам, придется лежать на чужой, но застланной своей простыней кровати и готовиться, а на кухне старуха с обрюзгим лицом будет подогревать на плите воду и откуда-нибудь с полки или из запечника доставать давно уже не бывавшие в действии потускневшие и запыленные вязальные иглы... Снова и снова вспоминая подробности прошедшей ночи, Екатерина видела перед собой, как живую, Агафью Митрофановну, видела ее в тот момент, когда старуха с пучком игл и полотенцем в руках

появилась у кровати; она сказала только: «Ну, милая, начнем»,— и положила холодную руку на обнаженный живот Екатерины; будто не вчера, не ночью, а все это происходило сейчас,— Екатерина так ясно ощутила то холодное прикосновение старухиной ладони, что чуть не вскрикнула, и неприятная, неумная дрожь пробежала по спине; она уже не спускала глаз с большой иконы Христа и беспрерывно повторяла одну молитву за другой, но это не помогало,— воспоминания были сильнее молитв, и как ни старалась Екатерина, не могла не думать о том, о чем думала. Она пыталась вспомнить, есть ли сарай во дворе Агафьи Митрофановны, и хотя тогда была ночь, и Екатерина ничего не успела разглядеть,— теперь ей казалось, что она видела темный силуэт сарая, углом выступавший из тьмы, и уже воображение рисовало ей новую картину: выкопанная яма, таз, накрытый мешковиной, сгорбленная фигура старухи над ямой, скрежет лопаты, шорох падающей земли и тяжелое, усталое дыхание торопившейся и вспотевшей старухи Агафьи; за этим воображенным сараем было закопано то, что могло вырасти, бегать, смеяться, протягивать ручонки и кричать: «Мама!» — за сараем было маленькое кладбище, как в Стасовке, и Екатерина сейчас мысленно расставляла кресты и оградки на этом ничем не отмеченном и никому не известном маленьком кладбище. Екатерина не всхлипывала; просто крупные и прозрачные слезы стекали по ее разгоревшимся от жара щекам. Но вместе с этим, что мучило ее теперь и что, она твердо знала, будет мучить всю жизнь,— она понимала, что с ней самой случилось что-то очень непоправимое, что она уже навряд ли сможет встать с постели, но, что самое страшное, святой отец никого не позовет на помощь, если она даже будет умирать,— она чувствовала это, хотя, думая о Каширине, верила в лучшее, вернее, заставляла себя верить в лучшее. Она вспомнила первый приезд Каширина в Стасовку, чаепитие у окна и ночь, когда огромная фигура святого отца в белой нательной рубахе вдруг нависла над ее кроватью, и даже слова, которые он сказал ей тогда: «Дева днесь пресущественного рождает, а земля вертеп неприступному приносит», эти слова, будто Каширин, склонившись, вновь прошептал их сейчас над ее ухом, отчетливо услышала Екатерина; но она вспомнила об этом не потому, что осуждала себя,— ей хотелось разобраться в том сложном отношении Каширина к ней, именно сложном, какое она ощущала в последнее

время; то, что он был жесток к людям — это она знала, но то, что он был жесток к ней — в этом не могла и не хотела признаваться себе и потому мысленно обращалась к тем лучшим временам, к тем первым встречам, когда святой отец, которого она называла просто Гришей, был особенно ласков и нежен с ней. Но всматриваясь теперь в воскресавшие в памяти картины, она с болезненной подозрительностью относилась ко всему, что тогда радовало и огорчало ее; ей казалось, что дьячок хотя и гонялся за ней с топором, но был все же добрее и проще, был понятней ей, чем Каширин; сейчас он сидел бы у ее кровати и вместе с нею скорбел над постигшим ее горем, или, что еще вероятнее, стоял бы на коленях под образами и молился; Каширин же с самого утра, как встретил ее и уложил в постель, еще ни разу не выходил из своей кельи; она даже не знала, там ли он или нет, потому что ни звука не доносилось из подполья. Сознать то, что она осталась одна со своими мучениями и думами, было особенно больно, и, чтобы хоть как-то заглушить боль, она снова и снова молилась, глядя на большую, освещенную догоравшей свечой икону Христа. Икона то мутнела и расплывалась перед ее влажными глазами, то опять была видна ясно и отчетливо, когда она платком вытирала заплаканные щеки; лицо Христа, неподвижное, обрамленное блекло-желтой святой короной, было безучастно к ее страданиям, — в какую-то минуту Екатерина заметила этот холодный иконный взгляд и ужаснулась; она подумала, что, наверное, настал для нее час возмездия, что это бог карает ее за грехи, и оттого — такая душевная и физическая боль. «Господи, прости меня, грешную!..» Она вспомнила, как не хотела переезжать из Стасовки сюда, в Пятитрубинск, вспомнила разговор, который произошел как раз накануне отъезда.

«Погубишь и меня и себя. Я боюсь».

«Бога?»

«Мне и так никогда не отмолить свои грехи».

«Я не монах, никто не постригал меня в монахи».

«Господи!»

«Я сам повесил себе на шею четки — для людей, для себя, для бога, чтобы лучше служить ему, но обета монашеского не давал; «благодарящим благо сотвори, братиям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и вечную жизнь». Ну, Катя?»

«Боюсь».

Он не был монахом: он был монахом для других, но не для нее, а главное, не для бога, как понимала Екатерина, и это тогда утешало ее; но теперь, когда она считала, что настал для нее час возмездия,— теперь все представлялось совершенно по-иному, и доводы Каширина, его утверждения, что то, что он делает, он делает ради веры, эти доводы уже не имели для нее смысла; и «повивальные» дела матушки Василисы, кладбища, кладбища, большие и маленькие, и пьяная жизнь дьячка, и обман Каширина, и ее собственная жизнь, вернее, сожитительство со святым отцом и тоже обманы,— все это сейчас представлялось одним страшным грехом, тем грехом, который ничем уже не замолить. Она уехала тогда из Стасовки только потому, что узнала о смерти дьячка,— во всяком случае, так думала Екатерина; она не ходила на могилу к тому, с кем была обвенчана, кому перед алтарем обещала быть верной и от кого потом убежала,— именно в этом видела она теперь свой главный грех; «он ждет меня, ждет и зовет»; серая могила, заросший холмик с крестом у ног, дощатый гроб и дьячок с жиденькой рыжей бородкой в гробу, обложенный сосновыми стружками, худой, с медными пятаками вместо глаз,— все это так живо представила себе Екатерина, и представила рядом свой гроб и себя, обложенную стружками в гробу. «Господи, господи, господи!..» Но вместе со всеми этими ужасами, которые наполняли ее теперь, перед мысленным взором Екатерины все время вставала одна небольшая картина: будто она ходит по комнате и подбрасывает на руках малыша в распашонке; она никогда никого не нянчила, а только видела, как это делали другие, приносившие крестить детей, но, может быть, именно потому и представлялась ей эта картина; она была той несбывшейся женской мечтой, которую Екатерина всячески старалась даже сейчас подавить в себе. Она все еще смотрела на икону Христа и молилась; бледные губы ее беззвучно шевелились, и она чувствовала, как к уголкам рта стекали соленые капельки пота.

Из подполья не доносилось ни звука потому, что там никого не было; святой отец сразу же, как только уложил вернувшуюся Екатерину в постель, пошел через перевал к бабке в село; он пошел для того, чтобы, во-первых, поговорить с ней, насколько серьезно то, что случилось с

Екатериной, потому что Екатерина была бледна, слаба и еле держалась на ногах, когда он утром встретил ее в дверях, и во-вторых, тайком провести эту бабку к себе в дом и заставить вылечить Екатерину — Каширин знал, как и чем пригрозить старой «повитухе», если она вздумает отказаться. Он вышел из дому, когда над горами уже загорался рассвет и длинные тени от скал тянулись по склону вниз, к долине; он шагал по долине, не боясь кого-либо встретить здесь в такой ранний час, и мысли, какие одолевали его, не были ни сумрачными, ни угнетающими; ему казалось, что все поправимо, что нужно только набраться терпения и выждать; так же, как встающее над скалами утро, как это светлеющее небо, так представлялось будущее Каширину, то самое будущее с повседневными бедствиями, чтением евангелия, лазом в подполье и задуманной им жестокостью с «благословением», — «избави их, господи, от брэнной плоти и прими души их в Божественный чертог славы», — жестокостью, которая казалась ему сейчас обычным и вполне осуществимым делом; размышления эти так увлекли святого отца, что он не заметил, как очутился на вершине перевала. К дому бабки он подошел не с улицы, а со стороны огородов, пробираясь сквозь заросли облепихи; за сараем прошел мимо круга свежеутрамбованной земли, не обратив внимания на этот круг, а только по-хозяйски подобрав брошенную бабкой второпях лопату и приставив ее к стене; прежде чем пересечь двор, огляделся, а когда поднялся на крыльцо, неожиданно увидел на двери большой висичий замок. Он минуту оторопело смотрел на замок, не веря еще, что не застал бабку дома, но уже предчувствуя недоброе; было светло, хотя солнце еще не взошло, и его, святого отца, стоявшего на крыльце перед запертой дверью, могли увидеть, — сначала лишь это встревожило Каширина, и он стал искать взглядом место, где можно укрыться; но, прислонившись спиной к стене и спрятав голову за висевшее рядом корыто, очутившись в маленьком укрытии, он уже подумал о том, что все, что только что казалось вполне ясным и осуществимым, теперь могло не осуществиться из-за старухи, которой вдруг вздумалось куда-то уйти, — это еще больше встревожило Каширина, и он решил во что бы то ни стало дожидаться «повитуху», не зная и не подозревая о том, что она не ушла, а уехала к сестре в соседний совхоз, и уехала не на день, а на неделю, чтобы переждать беду; когда же

Каширин, чувствуя, что на крыльце дальше оставаться незамеченным нельзя, и, выбирая убежище понадежнее, забрался на чердак сарая и там, усевшись на какой-то узел со старыми тряпками, стал наблюдать в расщелину между тесинами за крыльцом и дверью,— он уже был настолько озабочен и подавлен всем, что случилось в это утро, что не мог ни о чем спокойно думать; та ненависть к людям, всегда жившая в Каширине, теперь вновь поднялась и охватила его, и он отсюда, с чердака сарая, мысленно кричал и тем, от кого прятался, и той, которую ждал, и даже той, что бессильно лежала сейчас дома в постели,— кричал злобно, как тогда, после пожара:

«Гады!»

«Гады!»

«Гады!»

Он считал, что если кто и был виноват в постигших его теперь неудачах, так это они, о н и.

Каширин не дождался Агафьи Митрофановны, хотя просидел на чердаке сарая почти до вечера; злой, голодный, охваченный мрачным предчувствием, спустился он с чердака и той же тропинкой через огород и заросли облепихи направился в горы к перевалу; в зарослях он еще на минуту остановился, подумав, что, может быть, напрасно уходит, что бабка, наверное, вот-вот придет, потому что уже скоро ночь и пора ей, наконец, вернуться,— лишь на минуту остановился, раздвинув кусты облепихи, всматриваясь, прислушиваясь, но ничего не видя, кроме все той же запертой калитки и двора, залитого теперь красными лучами заходящего солнца, и ничего не слыша, кроме легкого шуршания полуголых осенних веток, потом, зло сплюнув, зашагал вверх и уже до самого перевала ни разу не оглянулся. Может быть, как раз потому, что теперь он шагал, а не сидел в духоте на чердаке,— все случившееся снова казалось ему поправимым, только нужно набраться терпения и выждать; но сейчас он уже не был так уверен, как утром, и тягостные мысли, возникшие на чердаке, продолжали угнетать его; больше всего он боялся того, что обо всем узнают верующие, и тогда придется уезжать из Пятитрубинска,— это представлялось самым неприятным и страшным; он думал не о мучениях Екатерины, а о том, что так хорошо подготовленное и начатое здесь, в Пятитрубинске, «дело», теперь рушилось; ему было жаль и святые родники, которые с таким трудом и между тем так ловко уда-

лось объявить святыми, — Каширин спустился в лошину и проходил сейчас как раз мимо родников; и купленный им дом в стороне от шумной улицы, неприметный, теплый, с иконостасом в комнате и оборудованным подпольем, монашеской кельей, которой позавидовал бы даже «болящий человек», будь он жив; и той желанной славы среди верующих, какой добивался и какой добился Каширин как святой отец, затворник и ревнитель истинной веры — он знал, что эта слава о нем уже просочилась за город, потому что недавно приходили на служение две старухи из какого-то недалекого села; жаль было расставаться со всем, что окружало его, что еще вчера казалось надоевшим, однообразным, угнетающим, но теперь вновь — самым лучшим, самым желанным, чего он мог достичь и чего достиг в жизни. Так думал Каширин. Но чем ближе подходил к дому, тем сильнее охватывало его беспокойство за Екатерину; он вспомнил ее бледное лицо и всю ее, беспомощно прислонившуюся к дверному косяку, и еще вспомнил другой, здоровой и радостной, какой видел на вокзале в день приезда, — темный платок, соскользнувший на плечи, волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке, чуть взлохмаченные этим сползшим с головы платком, — Каширин даже приостановился и прикрыл ладонью глаза. Через секунду он уже снова шагал по ложине, вглядываясь в серую, убежавшую из-под ног тропу. Но хотя он думал теперь только о Екатерине, и хотя мысли эти не были особенно мрачными и безвыходными, — тягостное предчувствие все же ни на мгновение не покидало его. Именно потому, когда он вошел в комнату и увидел, что Екатерина так слаба, что может умереть, он не ужаснулся; в глубине души он уже был готов к этому; он даже почувствовал себя спокойнее и тверже, потому что все теперь было определено и ясно, и он точно знал, что ему нужно делать — уезжать из Пятитрубинска. Об этом он подумал сразу же, как только подошел к постели и посмотрел на худое и бледное, бледнее, чем было утром, лицо Екатерины; но, присев на табуретку, стоявшую рядом с кроватью, и взяв в свою ладонь чуть теплую обессиленную руку Екатерины, он ничего не сказал ей о своем решении; он произнес совсем иные слова:

— Терпение... Господь завещал нам терпение...

— Господь глух к моим мольбам, и он — справедлив. Я умру.

— Ты поправишься.

- Нет.
- Поправишься.
- Дай мне в руки свечу и зажги ее.
- Свечи в подполье.
- Сходи.

Он стоит неподвижно, прижимаясь спиной к холодной и каменистой стенке скалы и пока лишь равнодушно разглядывает собравшихся внизу, у освещенных ворот — с высоты Каширину хорошо видны и ворота, и весь залитый огнями двор рудничного комбината — рабочих ночной смены; пока лишь чувство досады охватывает святого отца, и он думает только об одном: как будет спускаться по узкой и опасной каменистой тропе, потому что спускаться по крутизне всегда тяжелее, чем подниматься, — пока лишь эта мысль беспокоит его, и он еще не знает, что простоят здесь, на крутом выступе, не две или три минуты, как замышлял, а несколько часов подряд, не чувствуя ни ночной прохлады, ни ночного холодного ветра, обдувавшего его худые плечи, ни усталости; никто не знает, какое событие в жизни станет для него главным, а какое неглавным; Каширин тоже не знал, что именно этот скальный выступ запомнится ему больше всего на свете, что даже те афимовские ночи, когда он выводил прогуливаться «благословленных» им же самим на голодную смерть Глафиру Беляеву, Клавдию Стриженову, Клавдию Приходько и Романа Селиверстова, те ночи, которые он в любую минуту мог представить себе с различными подробностями — и шорох подошв осторожно шагавших в темноте людей, и густой запах отцветающего подсолнуха с огородов, и шепот молитв, и грустные, до сих пор щемящие душу вздохи Глафиры, потому что ей особенно не хотелось умирать, и Каширин чувствовал это, — те ночи будут вспоминаться реже и не так отчетливо, как эти часы одиночества, проведенные на влажном от вечерней росы скальном выступе; он не подозревал тогда, что уже через месяц, сидя возле умирающей Екатерины, снова мысленно вернется к этой ночной прогулке и потом почти каждый день будет вспоминать о ней, и даже в палате психиатрической больницы, когда назовет себя Иисусом, будет говорить, что сошел на землю как раз с той скалы, что нависает над пятитрубинским рудничным комбинатом... Рабочие все подходили и подходили к воротам; они словно

выныривали из тьмы на освещенную площадь и двигались по ней то непрерывной, то прерывающейся серой лентой: серые спецовки, серые лица, серые рабочие фуражки и вспыхивающие огоньки сигарет под козырьками; как в немом кино: есть движение, но не слышно голосов, только легкое, еле уловимое шуршание пленки в аппарате; но чем пристальнее вглядывался Каширин, тем отчетливее видел все, что происходило на площади: в ожидании, пока откроются ворота, люди стояли небольшими группами, беседовали; в какой-то группе громко смеялись; сначала святой отец только и уловил обрывки этого смеха и отыскал взглядом хватавшихся за животы от хохота людей, а через секунду — будто вдруг сквозь неприятное потрескивание прорвался на экран звук, и картина ожила, все непонятное и бессмысленное неожиданно приобрело смысл, захватило внимание, и он теперь не только ясно слышал доносившиеся снизу голоса, хотя и не мог разобрать ни одного слова, но и, казалось ему, хорошо видел лица, улыбающиеся лица спокойных людей, и затаенная зависть к ним, с детства угнетавшая Каширина, вновь зашевелилась в груди. «Людской поток, серый людской поток!» Избушка лесная, лесной скит на краю обрыва, сгорбленные спины молящихся старцев, и он, мальчик Гриша, втайне от них убегающий по воскресеньям к большой дороге, чтобы посмотреть на ярмарочный поток крестьянских телег, груженных зерном, сеном, картофелем, на людей, шагавших по обочинам с котомками за плечами, угрюмых от долгого пути и усталости и серых от пыли; они идут, идут, скрипят телеги, щелкают кнутовища над костистыми лошаденками, слышатся понукающие окрики, и у него, скитского мальчика Гриши, спрятавшегося в старом дупле, широко раскрываются глаза; и загадочно, и зовуще, и тревожно, — тревожно потому, что старцы узнают и поставят его, послушника, на всю ночь на колени перед иконой Христа; ноют онемевшие колени, глаза застилаются влагой, и все же — на худой, выпученный лик Христа будто накладывается дорога, и скрипят по этому лику крестьянские телеги с деревянными ступицами на деревянных осях... Жизнь всегда представляла перед Кашириным однообразным серым потоком. Люди шли, шли по дорогам, тропам, вдоль палисадников; шли мимо дома тетки Марии, злой, ненавистной и грубой тетки, и он, подросток Григорий, бледный, как затворник, из окна смотрел на них, афимовских колхозниц, спешивших на поля; они про-

ходили утром, едва начинало светать, и возвращались вечером, когда сумеречные тени от плетней застилали улицу; они, будущие солдатские вдовы, с кукурузными лепешками в узелках, с граблями и тяпками за плечами,— они пробуждали в воображении подростка притупленное молитвами чувство свободы и человеческого долга; потом были еще людские потоки, такие же отдаленные и непонятные: толчея на вокзалах, площадях, тротуарах; цепочка верующих к молитвенному дому, его дому, и цепочка заключенных на тюремном дворе; и сейчас, даже в подполье, часто слышимые по утрам шаги соседей, уходящих на работу; и наконец — эта хорошо видимая со скальной высоты то непрерывная, то прерывающаяся серая лента рабочих ночной смены, идущих к освещенным воротам рудничного комбината. Каширин все еще, как ему казалось, прислушивался к голосам тех, шагавших вниз, но он прислушивался больше к себе и старался разобраться в нахлынувших воспоминаниях и мыслях. В детстве у него была своя мечта. Он не хотел в монахи и святые отцы. Спокойная, размеренная крестьянская жизнь,— не та, хищная, какую прожил отец, с прикупом пашен, захватом выпасов и покосов, вырубкой леса по ночам, лишь бы наполнилась мошна кулацкая, а та, что была у мужика в деревне всегда на виду: свой дом, свои кони, своя самая большая, на лучшей земле и лучшая, самая густая среди прочих полоса зреющего хлеба,— эта крестьянская жизнь казалась подростку Каширину идеалом и наивысшим счастьем. Худой, съежившийся в комочек и дрожащий от сырости и страха, он представлял себя большим хозяином: он идет вдоль полосы, срывает тугие, наклонившиеся к земле колосья пшеницы и растирает их в ладонях; хотя в жизни он видел всего один раз, как это сделал старец Филипп, когда они шли из скита в деревню и проходили мимо колхозного хлеба,— было сухое летнее утро, солнце еще не вставало из-за дальних крыш, но с минуты на минуту должно было появиться, потому что яркое оранжевое полукольцо, охватившее горизонт, уже слепило глаза и от шагавшего впереди инок Филиппа, от самого Григория, от кочек и придорожных высохших и запыленных стебельков травы уже ложились на землю расплывчатые тени,— хотя Григорий всего один раз видел, как тогда старец Филипп осторожно сдунул остья с обмолоченного в ладонях зерна,

как затем бережно завернул зерно в тряпицу, спрятал узелок за пазуху и перекрестился угрюмо и молча,— Григорий сотни раз потом проделывал то же и так же, как тот сутулый и белый как лунь скитский старец, сотни раз проходил в воображении по той проселочной дороге, вдыхал запах зреющего хлеба, видел утро, дальние крыши изб, еще сизые, не залитые солнечным светом, длинные тени по земле от придорожных сухих стебельков травы, но только проселок представлялся ему не дорогой. а лишь межой, колхозное поле — своей полосой, а старец Филипп — его словно совсем не было, этого сгорбленного старца, потому что уже тогда, в детстве, Каширин не хотел ни с кем делить свое пусть только в мыслях рождавшееся счастье. Он представлял себе отцовский дом, хотя ни разу не был в нем и знал только из рассказов старца Филиппа, сколько в том доме комнат, как стояла печь, где была божница и какие иконы на божнице; представлял двор, амбары, гумно; но все эти картины рисовались в надломленном воображении подростка опять без старца Филиппа. Большой, ширококостный, как все алтайские мужики, в бекеше и сапогах, еще не просохших от дегтя,— таким видел себя Каширин, расхаживающим по отчему двору, где все свое, кровное; и эта соломинка у ног, и та труба, дымящая спозаранку над железной крышей, потому что женская половина затеяла печь хлебы; кисловатый запах квашни и запах только что вынутых из печи и еще дышащих жаром калачей, негромкое побрякивание сковородок и ухватов и шорох вытираемых рук о ситцевые фартуки,— и буднично, и празднично, и как-то по-особенному тепло на душе от этой размеренной жизни; будто наяву он накидывает полушубок и выходит в морозные сени, потом во двор и шагает к сараю, где стоит скотина — надо почистить стойла и задать лошадям сена; и вот уже звякают кольца недоузdkов и доверчивые конские морды тянутся к его голове, плечу, он слышит нетерпеливый храп над ухом, покрикивает по-хозяйски: «Ну, ну, шалишь!» — и отворачивает к яслям ладонью теплые и влажные лошадиные губы... Каширин не только представлял себе такое будущее, но и, как ему казалось, испытывал и наслаждался тем воображенным крестьянским чувством доброты, уверенности, уюта; так было и тогда, в подполье у «болящего человека», и потом, в лагерные ночи, когда он с тоской вспоминал об этой юношеской мечте и особенно теперь, когда стоял на скальном выступе и смотрел на освещен-

щенный электрическими фонарями двор рудничного комбината. Жизнь других людей никогда не интересовала Каширина так, как своя; а она была трудной, та жизнь других, святой отец отлично знал, была трудной; только он не вникал в подробности; он обмывал ноги тетке Марии и заучивал псалмы, когда те люди — серый поток! — одетые в солдатские шинели, уезжали в теплушках на фронт и тревожная песня о священной войне сопровождала их эшелоны; он не видел ни тех эшелонов, ни уходивших колонн по запорошенным мостовым; дрожащие руки почтальонов не вручали ему похоронных; на божнице лежал поминальный список, в который тетка вносила имена погибших сельчан, и он, подросток Григорий, читал этот список во время служений; он читал, а тетка складывала в корзину принесенные верующими в «дар Христу» муку, картофель, яйца. Всплыл в памяти сейчас и этот пожелтевший поминальный листок на божнице — то было горе многих; в каждом третьем доме Афимовки — похоронная; в каждом третьем доме любого села; но все же — у жизни свое начало; Каширин видел потом, как в той же Афимовке перекрывались железом соломенные крыши изб и обновлялись палисадники и дворы, как веселели люди и вырастали новые дома, — видел это повсюду, когда случалось ему выезжать из деревни; он смотрел со скального выступа на освещенную площадь и многоэтажные дома с балконами, подступавшие к площади, — они тоже выстроены недавно, Каширин знал это, — на рабочих ночной смены, все подходивших и подходивших к воротам, и еще не испытанное ощущение большой жизни охватывало его... В ту ночь Каширин вернулся домой поздно, почти под утро, мрачный, озлобленный, и уже больше ни разу не ходил в горы к скальному выступу; он старался забыть обо всем, что чувствовал и что пережил тогда, глядя с высоты на освещенный двор рудничного комбината, и ему казалось, что он забыл об этом, как забыл и о недавнем ночном пожаре и тех мыслях, которые одолевали после пожара, потому что помнилось свое, главное, — деньги, деньги, которые кончались и которые нужно было непременно где-то доставать, — помнилось именно это главное; но теперь, когда неожиданная беда вынудила святого отца бежать из Пятитрубинска, — перед новыми скитаниями, перед той тяжелой неизвестностью, которая ожидала Каширина, в нем опять, теперь с еще большей силой, пробудилась зависть к никогда не испытанной большо

ж и з н и, и тогда он вспомнил в подробностях все, о чем думал и что пережил в ту ночь на скальном выступе. Все время, пока сидел на табуретке у кровати и держал чуть теплую обессиленную руку Екатерины, и пока спускался в подполье и шарил в темноте пальцами по неструганым доскам, отыскивая на полках свечи,— мысленно видел перед собой освещенную площадь и рабочих ночной смены на этой площади, все подходивших и подходивших к воротам комбината...

— Принес?

Каширин не ответил.

Свечей на полках не было, но святой отец не ответил Екатерине и не подошел к ней не потому, что не принес свечу; когда он перебирал пыльные вещи, наткнулся на брошенные и забытые монашеские четки, которые всегда брал с собой в дорогу,— эти четки теперь висели у него на груди под пиджаком, и сам он тоже был одет по-дорожному, в руке держал заплечный мешок, наполненный всем необходимым на первый случай (он прихватил и евангелие и еще несколько небольших икон, какие были в подполье), и открыл дверь, и вошел сейчас в комнату лишь для того, чтобы забрать серебряную ризу с иконы божьей матери, ту самую ризу, которую он закапывал когда-то на дне родника, и которая, он отлично знал это, могла еще раз послужить ему. Стоя у порога и прощальным взглядом окидывая комнату, он не испытывал злости, это чувство уже притушилось в нем; он даже не думал о себе так, как прежде, и ко всему, что ожидало его теперь, относился, казалось, спокойно и равнодушно, и только одно тяготило и угнетало его — неподвижно лежавшая на кровати Екатерина. Еще когда был в подполье и искал на полках свечи, Каширин подумал, что самое лучшее, что можно сделать для Екатерины, это послать к ней Алферову, добрую, как он считал, и заботливую старуху, у которой он останавливался еще в первый свой приезд в Пятитрубинск,— старуха либо выходит, либо, если уж так суждено, тихо, без шума похоронит Екатерину. Он решил, что по пути на вокзал зайдет к Алферовой. Это было единственное, что он мог сделать, и потому сейчас, стоя у порога, обдумывал, что и как будет говорить старухе Алферовой. Но голос Екатерины, совсем слабый, снова прозвучавший из сумрачной глубины ком-

наты: «Это ты, Гриша? Ты почему молчишь?» — заставил встрепенуться Каширина; он так и не подошел к иконостасу и не взял серебряную ризу; не подошел и к Екатерине, потому что чувствовал, что если сейчас подойдет и заговорит с ней, то уже не сможет уйти; он машинально перекрестился и тихо прошептал: «Господи», — впервые крестясь и произнося это слово без той внутренней усмешки, с какой относился к вере и богу; он и сейчас обратился не к богу, а только вложил в это слово все те мысли и чувства, какие испытал за весь сегодняшний день.

Когда Каширин вышел на улицу и, остановившись у калитки, оглянулся на дом, он почувствовал, что поступил жестоко, бросив умирающую Екатерину одну; но это чувство было недолгим, всего лишь пока смотрел на выступавшие из тьмы знакомые контуры крыльца и островерхой крыши (не раз, возвращаясь с гор после прогулок, святой отец останавливался у калитки и, прежде чем открыть ее, с любовью смотрел на этот серый, выступавший из тьмы силуэт своего дома); когда же теперь, взвалив мешок на плечи, он вышел на тускло освещенный электрическими фонарями тротуар и направился к вокзалу, уже думал о том, как лучше и незаметнее выбраться на главную улицу; даже то, что нужно было непременно зайти к старухе Алферовой, даже это, что только что он считал главным и ради чего, как уверял себя, решился так поспешно уйти, не поговорив и не простившись с Екатериной, — это теперь вызывало лишь досаду и неприязнь. Он шагал не спеша, прижимаясь к домам и оградкам, держась теневой стороны, вглядываясь в лица прохожих; к каждому встречному он начинал присматриваться еще издали и следил за ним до тех пор, пока не убеждался, что шагающий навстречу был человеком незнакомым и не нужно отворачиваться и натягивать фуражку на глаза. На Ивана Евдокимовича Шевелева, вышедшего из автобуса, святой отец тоже смотрел издали и тоже вглядывался в его лицо, но только когда поравнялся с ним, неожиданно заметил, что лицо знакомое; отойдя немного и оглянувшись — они оглянулись одновременно, и Шевелев и Каширин, — и снова увидев теперь хорошо освещенное, потому что Шевелев стоял как раз у столба под фонарем, полное лицо Ивана Евдокимовича, сразу же вспомнил и суд в Афимовке, общественного обвинителя, сидевшего на сцене рядом с прокурором и требовавшего самого строгого наказания — это был он; и встречу с

этим общественным обвинителем уже здесь, на Пятитрубинском вокзале — это было в тот день, когда Каширин ожидал Екатерину; и еще одна маленькая деталь всплыла в памяти: недавно в дом приходил агитатор, святой отец хотя и не видел его, но зато, притаившись в подполье, слышал весь разговор — голос агитатора тогда показался подозрительно знакомым; это приходил тоже он, это был его голос. Но не только то, что Каширин узнал Ивана Евдокимовича, но, главное, то, что Иван Евдокимович тоже узнал святого отца, — Каширин понял это, заметив, каким долгим и пристальным взглядом посмотрел на него Шевелев, — главное, это насторожило Каширина; он отпрянул в тень, прижался плечом к стене чьего-то дома и уже из укрытия стал наблюдать, куда пойдет Шевелев. Он хорошо видел, как Иван Евдокимович открыл калитку и скрылся в глубине двора; святому отцу даже показалось, что он услышал, как проскрипела калитка. Он вспомнил, что не запер дверь, когда уходил из дому; не запер потому, что замок остался в сенцах и не хотелось возвращаться, и еще потому, что рассчитывал немедленно прислать сюда Алферову; но сейчас, на секунду представив Шевелева, входящего в комнату к Екатерине, чуть не застонал от боли и ненависти; все, о чем думал и что пережил за этот день и вечер, — все сгустилось в нем сейчас в один твердый комок злобы, и он, шуря в темноте глаза и шепча свое обычное: «Гады! Гады!» — медленно продвигался вдоль стены, боясь выйти на освещенный тротуар; когда он подходил к вокзалу, возле его дома, взвизгнув тормозами, остановилась вызванная Шевелевым машина скорой помощи, и два санитары в белых халатах и с носилками в руках торопливо пробежали через двор и поднялись на крыльцо.

глава седьмая

До той минуты, пока не прошли кладбищенские ворота, и мыслил Иван Евдокимович спокойно, и то, о чем вспоминал, представлялось отчетливым и понятным, и то, что видел — больничную повозку, гроб, уже заколоченный гвоздями, плачущих старух в черных юбках и черных платках, — не вызывало в нем ни тревоги, ни мрачных дум; но как только маленькая похоронная процессия втянулась в кладбищенские ворота и черные старушечьи спины теперь

заколыхались на фоне серых крестов, вылинявших оградок, надгробных каменных плит и засохших венков на этих плитах, то обычное волнение, какое возникает при виде могил, охватило Ивана Евдокимовича, и он уже шел за гробом не просто как посторонний, желающий посмотреть, сколько и кто из верующих придет на похороны пророчицы (именно это он хотел узнать, когда отправлялся на кладбище), — он провожал человека в последний путь. Это ощущение утраты было тем сильнее, чем ближе подходили к свежей могильной яме; во всяком случае, так казалось Ивану Евдокимовичу, — подходили к свежей, хотя она была выкопана давно, несколько дней назад, и земля вокруг уже успела подсохнуть и зачерстветь; на городских кладбищах всегда можно увидеть около десятка готовых могильных ям, выкопанных про запас, и эти ямы продаются так же, как продаются гробы, бумажные венки и железные оградки... Иван Евдокимович шел позади всех, стараясь не смотреть по сторонам, держа фуражку в заложенных за спину руках; он никак не мог понять того, что же взволновало его теперь — или вид кладбища, покосившиеся кресты и осевшие могилы, или смерть Екатерины, эта неожиданная смерть, которую он считал и продолжал считать глупой и совершенно бессмысленной; он знал, как и отчего она умерла, и все, что произошло с ней, что он видел сам и чего не видел, но мог сейчас вполне вообразить себе, — все это невольно возникало в памяти, вытягивалось в пока еще не совсем стройную схему событий, и эти события как раз сейчас и волновали Ивана Евдокимовича. Но в то время как он старался представить все в последовательности, вспоминая и первую встречу с пророчицей в горах, и неожиданное знакомство с ней в доме на Политотдельской, куда ходил после разговора с секретарем рудничного парткома, — мысленно то и дело возвращался к субботнему вечеру, к тем минутам, когда, поднявшись на крыльцо молитвенного дома, так называл он каширинский дом, увидел бесчувственно лежавшую на пороге Екатерину. Она была полураздетой, в одной рубашке, и вся еще дышала теплом постели, когда Шевелев взял ее на руки, — он и сейчас, казалось, вновь ощутил тепло ее мягкого под рубашкой женского тела; он положил ее на кровать и от растерянности пригласил сперва соседей, потом вызвал машину скорой помощи, а потом позвонил в отделение милиции, чтобы прислали кого-нибудь осмотреть и опечатать оставшийся теперь без присмотра дом. Сирена

скорой помощи, врач с белой аптечкой, санитары, носилки, ахающие возгласы соседей и голос лейтенанта милиции: «Что здесь произошло? Граждане, кто знает, что здесь случилось?» Этот голос, совсем некстати прогремевший в комнате, и чей-то звучный шепот: «А где батюшка? Как же батюшка теперь!» — все это словно вновь видел и слышал Иван Евдокимович. Но с еще большими подробностями он вспоминал о том, как вместе с лейтенантом милиции и двумя оставшимися соседями, — молчаливым Петром Денисовичем, который ничему не удивлялся и на все смотрел равнодушно, и Таисьей Антоновной, не старой, но располневшей домашней портнихой, которая, в противоположность Петру Денисовичу, всему удивлялась и беспрерывно произносила: «О боже! О боже!» — хотя и не была верующей, — как с этими людьми он произвел в тот вечер первый осмотр молитвенного дома, как обнаружил келью в подполье, груду деревянных крестиков, старое монашеское рубище в углу, несколько икон и церковных книг, брошенных кем-то второпях на пол, а под матрацем каширинской кровати — это удивило даже молчаливого Петра Денисовича — лейтенант милиции обнаружил цветную репродукцию полуголой купальщицы, какие иногда печатаются в журналах.

«Вот так поп!»

«Вот это поп!»

«Похабник!»

«Похабник!»

Для лейтенанта милиции и для молчаливого Петра Денисовича, который по этому поводу все же произнес «Ну и ну», покачав головой, и особенно для Таисьи Антоновны именно это — найденная под матрацем репродукция — было важным и обличительным, потому что они только об этом и говорили весь вечер; но Иван Евдокимович, хотя тоже удивился и тоже рассматривал «купальщицу» — репродукция была для него лишь ключиком, открывавшим дверь к действительно важным и действительно мрачным событиям, творившимся в пятирубинском молитвенном доме, еще сильнее, чем тогда, в тот субботний вечер, чувствовал и понимал это Иван Евдокимович сейчас, шагая за гробом пророчицы и видя перед собой больничную повозку, раскачивающиеся черные спины старух и кресты по обочинам кладбищенской дороги, кресты, кресты, плиты, засохшие венки. Но воспоминания были так сильны и так захватывали воображение Ивана Евдокимовича, что он почти маши-

нально шагал за черными спинами старух; он снова подумал о репродукции и, представив себе купальщицу, полунагую, прикрытую вуалью и концом какой-то малиновой накидки, представив эту картину и вспомнив Екатерину, лежавшую в рубашке у порога, вспомнив ее такой — теплой, еще дышащей постелью, — какой держал на руках, неожиданно уловил сходство между купальщицей и Екатериной; они были похожи друг на друга, но не лицом, не прической (Иван Евдокимович не любил распущенные волосы, как у купальщицы, а любил прическу, такую прическу, как у Екатерины — крестьянскую, русскую, с косой, уложенной на затылке), — они были чем-то похожи друг на друга, может быть, стройностью фигур; Иван Евдокимович ухмыльнулся, вспомнив удивленный возглас домашней портнихи: «Вот так поп!» — но он теперь вполне понимал монаха Каширина, положившего под свой матрац ту цветную репродукцию купальщицы. «Хм, похабник?!» И уже опять — пока еще нестройная схема событий, в которых монах Каширин предстал отнюдь не похабником, а преступником, захватила внимание Ивана Евдокимовича. Встреча с Кашириным на вокзале, монашеская келья в подполье и вторая встреча с Кашириным в этот недавний субботний вечер у телеграфного столба под фонарем, — Иван Евдокимович еще остановился и посмотрел, афимовский ли это монах или не он; процессия в горах со «святой водой» и смерть девочки Тельнягиной, окрещенной святым отцом, — Иван Евдокимович тогда же, в ту субботу, прочитал заявление, поданное отцом девочки в народный суд на тещу и некоего неизвестного монаха; и, наконец, смерть Екатерины — это был один тугой узел, нити от которого тянулись к Афимовке, к подполью давно умершего «болящего человека», к той деревянной бане на конце огорода, в которой монах и святой отец Григорий держал «благословленных» и обреченных на голодную смерть Глафиру Беляеву, Клавдию Стриженову, Клавдию Приходько и Романа Селиверстова; колхозный клуб, заполненный людьми, голос судьи, речь прокурора и его, Ивана Евдокимовича, обвинительная речь, из которой были вычеркнуты, как ненужные, страницы о людском равнодушии, — все это связывалось сейчас в сознании Ивана Евдокимовича в один непрерывный клубок.

— Где грабарка?

— Вот она.

— Надо подчистить дно, а то гроб не установишь,— взяв грабарку, поплевав на ладони и примерившись, тяжело ли, легко ли, кладбищенский рабочий прыгнул в могильную яму и уже оттуда, выбросив несколько лопат подсохшей земли, крикнул стоявшему наверху и дымившему сигаретой напарнику:— Слышь, дубина, веревку захватил? — крикнул так громко, что даже Иван Евдокимович, находившийся позади старух и не видевший ничего, что делалось здесь, у могильной ямы, отчетливо услышал эти слова:— Веревку захватил?

— Что?

— Веревку... Опять забыл? На чем гроб опускать будем?

— Сейчас сбегая.

— Давай, да поживее!

Иван Евдокимович потерял ладонью виски; перед глазами были все те же сгорбленные старушечьи спины, только они не раскачивались теперь, а стояли неподвижно, как неживые; никто не молился, не было слышно даже шепота; лишь комья земли и глины, выбрасываемые из могильной ямы, с шумом сыпались на траву и глухо ударялись о дощатые стенки гроба. Было светло, солнечно, но Иван Евдокимович только теперь заметил, что рассеялись собиравшиеся с утра дождевые тучи; заметил это неожиданно, в какую-то минуту увидев, как белесым налетом покрылись освещенные осенним солнцем черные старушечьи платки; увидел тени, падавшие от старух, от крестов, от гроба и от вылезшего из могильной ямы и стоявшего теперь возле кучи насыпанной земли кладбищенского рабочего; он опирался на грабарку, курил и, поглядывая на тропинку, по которой ушел напарник к сторожке за веревкой, негромко ругал этого напарника; до Ивана Евдокимовича долетали ворчливые слова могильщика:

— Ну, дубина, ну навязал мне черт...

«Нет-нет, вычеркнуть».

«Это же о людском равнодушии!»

«Нельзя так обобщать, бойтесь такого обобщения; говорите лучше о частном, конкретном».

«Но это...»

«Вы кого собираетесь обвинять: монаха или общественность?»

Так были выкинуты из обвинительной речи страницы о людском равнодушии; ничего не удалось отстоять; Иван Евдокимович негодовал тогда, что согласился с инструктором афимовского райкома; он и сейчас, вспоминая, чувствовал, что прав был он, а не тот инструктор, чувствовал это сильнее, чем тогда, и если бы все могло повториться, если бы снова пришлось составлять обвинительную речь,— еще острее и резче написал бы Иван Евдокимович и уже никому не позволил бы ничего вычеркивать. Так он думал, искренне желая, чтобы все для него повторилось (ему теперь очень хотелось исправить свою ошибку), не догадываясь, не подозревая, что все идет именно к тому, чтобы повториться: святой отец снова предстанет перед судом, только на этот раз процесс будет проходить не в Афимовке, не в тесном кохозном клубе, а здесь, в Пятитрубинске, и народу соберется больше, чем тогда, и Ивану Евдокимовичу, как общественному обвинителю, придется выступать на процессе и тщательно готовиться к этому выступлению,— все это будет, и он составит обвинительную речь, злую, негодующую, разоблачительную, но пока — в нем лишь рождалась та смелость, именно смелость говорить правду, которая должна была родиться и без которой невозможно сделать ни одного благородного дела на земле. Никто не знает, когда, в какую минуту придет к нему эта смелость; «я еще не испытал этой минуты», ничего внешне не изменится и для Ивана Евдокимовича, и он, вернувшись с кладбища, примется за свои обычные занятия, но уже не сможет делать то же и так же, как прежде; он заново переписет «Записки воинствующего атеиста», но не для того, чтобы подладиться под мнение того руководителя семинара или кандидата, или доктора наук; он выскажет свое, пусть резкое: «Не мы оскорбляем чувство верующих, а они оскорбляют наше чувство, чувство человека». Иван Евдокимович не знал точно, эту ли фразу напишет или еще что-либо более существенное и важное, но чувствовал, что обязательно напишет; гроб уже поднесли к яме, подкладывали под него веревки, и Шевелев подумал, что если бы даже не было сотен других загубленных сектантами жизней, а была только эта одна,— и тогда все равно он написал бы свои «Записки»: не для того рождается человек, чтобы бессмысленно умереть.

«Люди!

Мне жаль вас, лю д и, стоящие на коленях у распятий!»

Иван Евдокимович смотрел, как спускали на веревках гроб, слышал, как все тот же кладбищенский рабочий, который подчищал дно ямы, властно и громко покрикивал: «Осторожнее, осторожнее, полегче..» — слышал эти слова, обычные, простые и прощальные в эту минуту, и так же, как когда-то Екатерина мысленно расставляла кресты на маленьком кладбище за сараем, так же, как воображение рисовало ей сотни таких малых кладбищ по деревням и селам страны,— так же видел сейчас в воображении Иван Евдокимович сотни темных могильных ям, сотни гробов, опускаемых в ямы, сотни бессмысленных смертей... В какое-то мгновение — или оттого, что начали засыпать могилу, и комки земли с шумом ударились о деревянную крышку гроба, или он услышал, как удивленно и испуганно вздохнули и зашевелились, крестясь, старухи в черных платках, или просто потому, что он в это время взглядом обвел всех, пришедших хоронить пророчицу,— он увидел напротив себя, у могилы, монаха Каширина; сначала Иван Евдокимович даже не поверил себе, потому что никак не ожидал встретить его здесь. Каширин стоял неподвижно, наклонив голову; он был бледен, не брит и подстрижен под машинку, будто знал, куда ему предстояло идти с кладбища; за плечами у него висел на веревочных лямках дорожный мешок. Иван Евдокимович снова пристально посмотрел на Каширина; теперь не было воспоминаний; теперь было только лицо монаха, и Шевелев не сводил с него взгляда.

Т е н ь И и с у с а

пастыри и овцы

В Семипалатинске на Песчаной стоит огромный молеельный дом. По воскресеньям, субботам и четвергам сюда стекаются с разных концов города верующие. Приезжают они и с левобережья Иртыша, из Жана-Семей.

Горожане не любят ходить по Песчаной, мимо молеельного дома. Даже автомашины, словно по уговору, не доезжая квартал, сворачивают на другую улицу, хотя никакого запретного дорожного знака здесь нет. Зимой улицу замечает снег, летом она зарастает травой, но вьется по траве проторенная верующими тропинка.

Странно смотреть со стороны на цепочку сгорбленных черных фигур. Идут во двое, по трое, степенно, под руки. Это старики и старухи. А те, что помоложе, идут торопливо и прячут глаза от прохожих. Этих можно легко узнать по походке, пугливой, с оглядками. Есть и совсем юные. Они тоже спешат укрыться от постороннего взгляда в стенах молеельного дома.

Верующие довольны своим молеельным домом, хотя приобретен и открыт этот храм божий не совсем законным путем. Несколько лет назад семипалатинская община баптистов помогла одному из верующих приобрести небольшой домик на Песчаной. Как только документы на куплю и продажу были оформлены, этот домик, вполне пригодный для жилья, был, к удивлению и недоумению соседей, немедленно снесен, а на его месте возведен огромный и длинный, как барак, домина. Он поставлен на высокий фундамент. Крыша под железом. Окна широкие и светлые. Двор огорожен высоким тесовым забором.

Здесьний пресвитер хорошо, конечно, знал, что строить и открывать молеельный дом без соответствующего на то разрешения нельзя, а добиваться разрешения — много хлопот, да и место могут отвести где-нибудь за околицей,⁷ на

трясине, куда не каждый верующий захочет пойти. Так не лучше ли отгрохать дом где вздумается, а потом прикинуться простачком? Пожурят — и узаконят... Так и вышло. Все простилось христолюбцам, все сошло с рук, и возносят они в своем молебном доме хвалу господу за его милосердие, собирают с заблудших грешников щедрые пожертвования на «нужды общины».

Разные времена переживала семипалатинская община баптистов. Были здесь и тихие пресвитеры, незаметно, исподволь набивавшие свою мощну из общинной кассы, были и казначеи вроде брата Кизинского, который в один год поставил себе дом и приобрел богатую мебель и одежду, был и тридцатилетний Алтухов, бывший офицер Советской Армии, командовавший на фронте пулеметным взводом. Этого-то что привело сюда? Его особенно помнят верующие. Он был груб, жесток и беспощаден к своей пастве. Сами прихожане однажды не выдержали и лишили своего пресвитера всех духовных званий и даже исключили его из общины.

Ныне общину возглавляет Варфоломей Иосифович Грудцен, восьмидесятилетний старик. Внешне он добр и покладист, но в маленьких, скрытых под большими роговыми очками глазах его нет-нет да и загорятся злые и жестокие огоньки. Рядом с Грудценом всегда можно видеть другого старца, горбоносого, с хитрым и хищным взглядом. Это Максим Иванович Шкуратов. Верующие побаиваются его, хотя и относятся к нему с благоговением и каждый раз выбирают в ведущую тройку при пресвитере. Побавляется и Варфоломей Иосифович Грудцен.

Шкуратов — старый баптист. В 1918 году, когда люди боролись за свое счастье, за новую жизнь, Максим Иванович Шкуратов принял крещение и вступил в веру. С тех пор он почти нигде не работал, хотя обзавелся семьей, чадами и домочадцами, приобрел большое хозяйство. В самые трудные для других людей годы он выстроил себе дом недалеко от пристани, обшил его тесом, покрыл железом. И сейчас во всем квартале самый видный дом — это дом старика Шкуратова. Резные наличники, ставни и тесовая обшивка ежегодно подновляются голубой краской — любимый цвет состоятельных мещан. Чем же он жил, нигде не работая, этот богобоязненный человек? В общине говорят, будто бы Шкуратов долго сидел за веру, страдал, принимал «мученичество». Но в той же общине есть люди, кото-

рые знают и другое: Шкуратов был осужден за спекуляцию. Знали и то, как он, не делясь ни с кем, присваивал себе общинные деньги. Но знающих о проделках его в общине становится все меньше и меньше. Разве только Варфоломей Иосифович Грудцен еще опасен, но едва ли решится что-либо обнаружить.

Безпрототно верят своим пастырям молящиеся грешники, молча слушают они чудесные слова о добре, братстве, добропорядочности и потустороннем вечном блаженстве.

Пресвитер и вместе с ним ведущая тройка постоянно пекутся о расширении своей общины. Чем больше молящихся, тем больше пожертвований — такова простая истина. Разными средствами привлекают они к себе людей. У кого-то случилось несчастье, и вот они уже тут как тут со своей библией, со своими проповедями о добре и зле. Только Христос может принести спасение, только он способен залечить душевные раны.

Надломленный горем человек прислушивается, присматривается, ему неустанно говорят о добродетелях, о вечном блаженстве, его окружают заботами, помогают материально, чтобы потом с него же содрать сторицей, и — дело сделано, еще одной овцой больше в стаде.

Сотрясаются стены молельного дома от пения торжественных гимнов, восхваляющих господу и радостно сообщающих ему о приобретении еще одной души. Рассказывают, что некоей старушке, сестре Агафье, община отремонтировала дом и перекрыла крышу. Для наглядности показывают и сестру Агафью и просят ее рассказать о знаменательном событии. И вот сестра Агафья, шамкая беззубым ртом, вещает, как она, бедная и одинокая вдова, работала когда-то в какой-то артели, сильно нуждалась и подала заявление в профсоюзный комитет о помощи. Сколько пришлось ей якобы претерпеть унижений, пока наконец выдали сто рублей из кассы взаимопомощи. Будто бы даже не одна, а целых три комиссии приходили к ней в дом для обследования, действительно ли она нуждается, и только после этого вынесли решение. А вот у баптистов — другое дело. Сказал пресвитер после молебствия: «Братья и сестры, у сестры Агафьи крыша обвалилась, надо помочь...» — и в три дня перекрыли. Расскажет старушонка, потом поведет и покажет свой дом — наглядно. Тут уж не поверить нельзя.

На вид тихая и безобидная, баптистская секта сильна, живуча. Что скрывать, есть у нас отдельные косные люди

и среди профсоюзных работников и среди хозяйственников, есть еще бюрократы, которые забывают о нуждах рабочих.

Обидит такой чинуша, оскорбит, да второй еще добавит — и идет человек к баптистам, принимает веру. Для завлечения молодежи у сектантов свои пути. «Зачем в клуб идти,— говорят они,— в это греховное заведение? Вы посмотрите: там грязно, заплевано, там сквернословят, туда ходят пьяные нечестивцы, а у нас чистота, вежливость, уважение. А какой хор! Как поют! И вы можете вступить в хор, по нотам петь будете. Приходите, послушайте, посмотрите...» Приманка, конечно, не ахти какая, но все же. Придут молодые люди, послушают проповедь, послушают хор — хорошо поют, верно. Почему бы не прийти сюда и в следующий раз? Проповедник читает с душой, красиво, как иной хороший артист. Рассказывает такой проповедник какую-нибудь библейскую легенду, к примеру, как Иоанн на песчаном острове однажды увидел лик Христа, и рассказ его сопровождается пением хора. Это привлекает, нравится молодежи, впервые посетившей молебельный дом баптистов. Приходят второй и третий раз и так постепенно втягиваются в веру, совсем не представляя себе всех последствий религиозного дурмана. А уж за тех, кто принял веру, сектанты умеют постоять. Не так-то просто уйти из секты: тут и запугивания, и прямые угрозы, вопреки всем заповедям Христа, и даже насильственные умерщвления, выдаваемые за божью кару в назидание другим.

Нет, не так тиха и безобидна баптистская секта, как это кажется на первый взгляд. Многим советским гражданам исковеркали жизнь эти люди, проповедующие богобоязнь и смирение, толстыми библиями и евангелиями прикрывающие свои изуверские дела.

судьба шоти сорокиной

Мотя Цыганкова полюбила Евгения Сорокина, паренька из сапожной мастерской. Был это веселый, жизнерадостный юноша, умевший, как все мастеровые люди, и выпить в меру, и погулять на праздниках на широкую ногу, и сплясать под гармонь. В беззаботно заломленной набекрень кепке, с густым русым чубом под козырьком, в клетчатой рубашке нараспашку он приходил к воротам хлебокомбината

встречать Мотю со смены, водил ее в кино, на танцы в городской парк, подолгу простаивал у калитки, рассказывал о своих сокровенных мечтах. А мечтал он закончить вечернюю школу и поступить, хотя бы заочно, в институт. Иногда он бывал грустным, молчал, и как ни старалась Мотя узнать, что с ним, Евгений скупно отвечал:

— Так, ничего особенного...

А случалось это в те дни, когда в семью Сорокиных приходил Максим Иванович Шкуратов. Мать Евгения и его сестренка Шура, тихая, кроткая девушка, служившая у Шкуратова в домработницах, были баптистками. Старик, как обычно, усаживался посреди комнаты, по-хозяйски расставлял ноги и неприятным, хищным взглядом осматривал Евгения:

— Грешишь все, грешишь!.. Смотри, Евгений, бог, он покарает, придет его возмездие. На всю семью придет. Мать бы хоть пожалел...

— А, отстаньте вы со своим богом!

Но старик пускался в долгие и нудные рассуждения о вечном аде и вечном рае, мать принималась плакать, шептать молитвы; плакала и сестренка Шура, и все втроем наседали на Евгения, упрасывая, умоляя его принять крещение, поклониться богу. Евгений уходил из дому, и настроение его бывало испорчено на целый день. Если он приносил с собой газету, ее сейчас же вышвыривали в мусорную яму; такая же участь постигала и книги, которые он брал из библиотеки и за которые потом приходилось расплачиваться. Частые недоедания из-за этих ссор, частые выпивки «с горя» и «от скуки» постепенно расшатывали здоровье. Стоило ему однажды сильно простудиться — и он заболел туберкулезом. Сначала почувствовал легкое недомогание, но старался не замечать его, не лечился. Когда он женился на Моте, у него было уже двустороннее поражение легких. Девушка, разумеется, ничего этого не знала.

Мать Евгения была противницей неравного, как она считала, брака ее сына с работницей хлебокомбината, но старик Шкуратов, негласный опекун и наставник в доме Сорокиных, думал иначе: «Что ж, если одного Евгения не удастся вовлечь в секту, то с двумя будет легче управиться. Женщина — существо покорное, ее можно и испугом взять, устрашениями, а уж она потом и на Евгения повлияет. Не одна, а сразу две души прибавится к стаду наших овец грешных...»

Слово Максима Ивановича — закон. Как сказал, так и будет. И мать Евгения стала готовиться к свадьбе сына. Свадьбу решено было отпраздновать по баптистскому обряду, с песнопениями, но без вина и водки. Как ни противился Евгений, все же не посмел пойти до конца наперекор матери — и согласился.

В день свадьбы Мотя впервые узнала, что идет жить в дом к верующим, к баптистам. Но это не испугало ее. Что же, кому охота молиться, пусть молится, какое ей дело. Она будет жить с Евгением, а он — хороший, ласковый, добрый. Должно быть, и мать его такая же добрая и сестренка тоже. Тогда Моте казалось, что верующие еще добрее других, они никогда не делают ничего дурного: бога боятся.

Было так радостно в этот ясный солнечный день, было столько счастья в ее девичьем сердце, что ни для каких тревог не оставалось в нем места. Разве могла она предвидеть, что эти добрые, богобоязненные люди сделают жизнь ее горькой, будут травить и преследовать ее, погубят мужа, погубят ее детей! Больную, они будут держать Мотю в комнате под строгим надзором святых сестер-баптисток, отказывая ей во врачебной помощи. Нет, Мотя не могла этого предвидеть. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом, ни за что бы не поверила и обиделась на злую шутку.

За свадебным столом было много гостей, но — ни ярких праздничных нарядов, ни веселых и задорных молодежных песен, ни улыбок на постных, аскетических лицах стариков и старух, ни шуток, ни таинственно-заговорщицких взглядов подружек, у которых, как говорится, женихи еще не родились.

Сначала все молча ели, вытирая платочками потные шеи, потом пели какие-то грустные, печальные, как на отпевании покойника, песни, потом опять принимались за еду и опять тянули заунывную мелодию и теми же платочками вытирали теперь уже слезы счастья на глазах. Было как-то немного неловко оттого, что свадьба без веселья. Мотя замечала, как хмурился ее отец, недовольно поглядывая на своих новых родственников, и ей было жаль отца, которому нельзя ни выпить на ее свадьбе, ни даже закурить, ни в комнате, ни во дворе (об этом сам старик Шкуратов предупредил его); Мотя замечала все, но не было времени ни подумать, ни осмыслить по-настоящему, что происходило вокруг; рядом сидел милый Евгений, и эта близость люби-

мого человека наполняла ее сердце счастьем. И все же еще в тот день Мотя почувствовала, что где-то в ее жизни образовалась маленькая трещина. Ее отец не дождался конца свадьбы и ушел, униженный этим необычайным весельем без веселья, а за ним ушла и вся Мотина родня. Никто не стал провожать их, только старик Шкуратов вышел в сенцы и крепко захлопнул дверь.

Больше отец с матерью не бывали в доме Сорокиных. С первых же дней Мотя почувствовала, что жить в одном доме с матерью Евгения и его сестрой Шурой она не сможет. Так же, как и Евгений, она ежилась под косыми хищными взглядами старика Шкуратова, который приходил почти каждую неделю, то будто бы попутно, то специально навестить своих хороших знакомых и справиться об их здоровье. «Что надо этому старику? Чего он ходит?..» — недоумевала Мотя.

И вот однажды старик заговорил о баптистской вере. Евгения в этот день дома не было. Старик рассказывал о молитвенном доме, который в то время только начали строить на Песчаной, говорил о хоре, о красоте и музыкальности богослужения по-баптистски; потом мать, сестра Шура и сам Максим Иванович нестройными, дребезжащими голосами пропели несколько гимнов. Все это Моте показалось смешным, и она улыбалась, думая, как могут такие взрослые люди всерьез верить в бога. Перед уходом Максим Иванович по-отцовски мягким и добрым тоном сказал:

— Все, Матренушка, поначалу улыбаются, а потом и приходят к Христу на поклон. Так-то вот.

Мотя не сразу поняла смысл этих слов, а когда поняла, ей стало вдруг жутко. Она вспомнила, каким пожирающим взглядом смотрел на нее старик, вздрогнула от этого неприятного воспоминания. Вечером все рассказала мужу.

— Начинается.. Так и знал... — ответил Евгений.

— Что знал?

— Они мне всю душу этим проклятым богом вымочили.

— Давай уйдем на квартиру? Или к нашим?

— Разве отсюда уйдешь? Тут слез не оберешься.

— Что же тогда делать?

— Уйдем! — вдруг решительно сказал Евгений и с силой ударил себя кулаком по колену.

Но на квартиру они не перешли, не ушли и к родственникам Моти; опять старик Шкуратов и мать Евгения взя-

ли верх. Они предложили пристроить к дому еще две комнаты, сделать отдельный ход и жить рядом в мире и спокойствии. Обещались помочь. Все это было заманчиво. Конечно, куда приятнее жить в своем собственном доме, чем кочевать по чужим квартирам да еще и платить немалые деньги, и Евгений и Мотя, посоветовавшись, согласились. Стали копить деньги на строительство, экономя на всем, на чем только можно было; Евгений брал побочные работы и до полуночи, сгорбившись на низеньком сапожном стуле, стучал молотком, сучил дратву; иногда в изнеможении ложился на деревянную скамью и так засыпал, не раздеваясь. Он был хорошим сапожником, делал на совесть, как просили заказчики, и работы было много.

Весной начали строить дом. Строительство продвигалось медленно. Про обещанную помощь мать и старик Шкуратов молчали, так как и Мотя и Евгений упорно отказывались поклониться Христу. Тяжело было двоим вытягивать затеянную стройку.

У Моти родился сын.

Появился и второй ребенок, а дом все еще не был закончен. Дети часто болели, доставляя много хлопот. Пошатнулось и Мотино здоровье. Она осунулась, постарела, с удивлением рассматривала в зеркале ранние морщинки у глаз. Как-то, повозившись в ледяной глине, она слегла совсем. Больше месяца пролежала в больнице. За все эти дни к ней ни разу не приходила свекровь, зато трижды навещался старик Шкуратов и приносил вместе с передачей маленький карманный томик евангелия, который Мотя сейчас же возвращала ему.

У Моти родился четвертый ребенок, когда они наконец перешли в свой дом. Но дом не принес семье радости. Тяжело захворал и умер старший сын; потом болезнь унесла в могилу младшую дочку. Слег и сам Евгений. Беда за бедой наваливалась на молодых Сорокиных, а свекровь и старик Шкуратов только ходили вокруг и злорадствовали.

— Вот она, божья-то кара! От бога не уйдешь! — промочили они, и получалось, будто пророчества их сбывались.

Мотя пыталась возражать, что бог тут ни при чем, ведь дети умерли от болезни, их просто вовремя не показали врачу. Но свекровь сейчас же перебивала ее, говорила, что болезнь — это божье наказание, что как раз бог-то и напоминает о себе. Вот если бы Мотя и Евгений молились богу,

просили у него прощения — глядишь, и смиловился бы, ниспослал здоровье и радость... В конце концов, подавленная горем, измученная заботами, Мотя стала думать, что, может быть, и вправду есть на свете бог, который наказывает ее за непослушание. Сначала она гнала эту мысль прочь, но сомнение, раз зародившись, все больше проникало к ней в душу. В дом зачастили какие-то женщины, которых свекровь называла своими сестрами во Христе. Они говорили о боге и читали евангелие у постели Евгения. Мотя не знала, что делать, на что решиться.

Когда дети болели, она вызывала врача, возила их в больницу наперекор всем запретам свекрови. Но тогда Мотя была уверена, что только врачи могут вылечить от болезни. А после смерти детей эта вера была поколеблена в ней, к тому же и свекровь и старик Шкуратов решительно запретили ей вызывать врача к Евгению.

— Детей погубила, теперь мужа хочешь погубить?! Они обвиняли Мотю и советовали ей, пока еще не поздно, смириться и просить прощения у бога, тогда он вернет и здоровье, и радость, и счастье. Что ж, может быть, действительно, надо смириться, может быть, она и впрямь грешна и должна замалчивать свои грехи? Но в чем ее грех?

В полусумрачной комнате с занавешенными окнами, подальше от яркого солнечного света, лежал в постели больной Евгений. Лицо его потемнело, глаза ввалились; длинные, когда-то сильные, пропахшие кожей и канифолью руки его, теперь, как плети, лежали поверх одеяла. Он мало разговаривал, ничего не просил, ни на что не жаловался, только пил горячую воду, стараясь заглушить кашель. Когда приходили сестры-баптистки и, присаживаясь у изголовья, начинали нараспев читать евангелие, он отворачивался к стенке и тихо плакал. Видно, и его, как и Мотю, сломили горе и болезнь.

В одно из таких чтений, когда в комнате находился и старик Шкуратов, Евгений сказал, что согласен принять крещение.

Стояла поздняя осень. Холодный ветер гнал по дорогам желтые листья, пенился Иртыш, разбрызгивая студёные капли, будто сопротивлялся наступлению зимы, ломал тонкий синий ледок у берегов. В такое холодное осеннее утро и повели Мотю и больного Евгения к Иртышу крестить. На берегу их раздели до белья. Пресвитер в белой накидке вошел по колено в ледяную воду и позвал Евгения.

Старик Шкуратов стоял у самой кромки льда и читал евангелие; тут же несколько хилых голосов тянули баптистский гимн, воздающий хвалу господу.

— Евгений, может, не надо, а? — робко прошептала Мотя, взяв за руку посиневшего на ветру мужа.

Ей было страшно. Холодный песок обжигал босые ноги, тонкий ледок хрустел и ломался под набегавшими на берег волнами. «Бежать, бежать отсюда, поскорее увести Евгения в больницу!..» — возникла в голове Моти решительная мысль. Но за всем зорко наблюдала свекровь.

— Смирись, грешница! — грубо проговорила она, заметив порывистое движение Моти.

Эти слова словно опалили Мотю, и она устало, смиренно опустила голову.

Евгений высвободил руку и шагнул в ледяную воду.

— Веришь в бога? — спросил пресвитер.

— Верю.

Пресвитер пальцами ловко зажал Евгению нос и уши и окунул его с головой в воду:

— Крещу во имя отца и сына и святого духа! Амины! Затем под руки ввели в Иртыш и Мотю...

А на другой день Евгения в жару и бреду увезли в больницу. Мотя молилась всю ночь, ни на час не смыкая глаз. Ее уверяли, что бог всемогущ, убеждали, что молитвами можно упросить бога смилостивиться и вернуть здоровье. Но к утру Евгению стало хуже, а к полудню у него поднялась такая температура, что он не узнавал ни жену, ни свою мать, ни детей. Странно, свекровь на этот раз не бранила Мотю, видно, и у нее заволновалось материнское сердце, видно, и у нее в этот день поколебалась вера в бога.

Прошел месяц, второй, Евгения подлечили, он вернулся домой посвежевшим, прибодренным. В тот же вечер в модельном доме братья и сестры баптисты пели хвалебные гимны, благодаря господу за выздоровление брата Евгения, и щедро вносили пожертвования.

— Не скупитесь, не скупитесь, — шептала свекровь Моте, когда после богослужения обшитый синим бархатом глубокий ковш для пожертвований пошел по рядам, и сама, развязав узелок, с благоговением положила в ковш четвертную.

Евгения подлечили врачи. Но иначе думали старик Шкуратов и свекровь. Они считали: вылечили-то, может быть, и врачи, но это сам бог вложил им в руки лекарство.

Словом, все, что делается на свете, делается по воле божьей. Умер человек — это бог наказал, выздоровел — бог простил грехи. Верующие все объясняют волею бога.

Легко удивляться со стороны наивности и нелепости таких суждений, а человеку, испытывшему горе, перенесшему одно несчастье за другим, неожиданное просветление в жизни — надежда на лучшее — покажется божьей благодатью. «Да, бог, все сделал бог!..» — так думала и Мотя, которой изо дня в день внушали эту мысль и свекровь, и приходившие к ним в дом старухи, и Максим Иванович Шкуратов, всегда сытый, довольный собой и своими делами.

Мотя уже не работала на хлебокомбинате. Она, а вместе с ней и весь огромный дом Сорокиных, вся их семья были как бы отрезаны от всего мира, жили своей маленькой, замкнутой богобоязненной жизнью. Ни газет в доме, ни радио, даже просто «мирские сплетни» запрещено было слушать и вносить в дом. Что делалось в стране, что делалось в родном городе Семипалатинске — от всего этого Мотя была надежно отгорожена высокой стеной религии.

А Советская страна переживала великий подъем. Тысячи молодых людей, тысячи комсомольцев по призыву партии и правительства ехали в Казахстан и на Алтай распахивать целинные и залежные земли, строить новые города и совхозные поселки; молодежь ехала в суровые края Сибири осваивать несметные богатства тайги. На великих реках России возникали одна за другой грандиозные стройки. В газетах то и дело мелькали имена героев, подвиги которых удивляли и поражали весь мир. Мотя ничего не знала об этом. Не большие дела страны, а гнусный мирок «мучеников», которые, кстати сказать, жили далеко не мученической жизнью, день за днем раскрывался перед ней.

Вместе со стариком Шкуратовым она ездила в Лениногорск за медом. Старик преспокойно спал на верхней полке, а Мотя, не смыкая глаз, сгорбившись, сидела в душном общем вагоне, оберегая его сон, а вернее, его кошелек, туго набитый хрустящими сотенными. Мед покупали в горах, на пасеках, а затем сбывали его в Семипалатинске втридорога. Не гнушался старик спекулировать и новыми вещами. Часто он сам отправлялся в Алма-Ату за «нужными» покупками (в Алма-Ате тоже были «братья и сестры», которые заблаговременно готовили ему эти «нужные» вещи), а иногда отправлял жену. У Шкуратова были свои комиссионеры, закупщики и сбытовики товаров, по-

просту—продавцы—семипалатинские верующие старушки. На всех рынках города они бойко торговали медом, арбузами с собственных бахчей Шкуратова, столичными шерстяными кофтами, тончайшим капроном. Ничем не пренебрегал богобоязненный старик с хищным взглядом.

Вскоре Мотя стала замечать, что между проповедями Шкуратова и его образом жизни большая разница. Старик выпивал, хотя баптистам строго запрещено пить и курить, а выторговывая цену, сквернословил и лихо, как заправский купец, бил по рукам. Неожиданно Мотя узнала поразившую ее историю близкой дружбы Шкуратова с семьей Сорокиных.

Несколько лет назад Сорокина взяла у старика взаймы деньги и долго не отдавала. Шкуратов решил самолично разыскать с нее этот старый должок. Поехали они за медом. Денег в закупленный мед вложили поровну, а барыш с продажи старик оставил у себя.

— Теперь мы в расчете,— сказал он старухе.

— Как это в расчете? — возмутилась та.

— Да так. Годика два, почитай, как должок-то за тобой числится, я уж о процентах не говорю...

— Позволь, Максим Иванович, какой должок? Да ты всю свою жизнь обязан кормить нас, если хочешь знать.

— За какие такие провинности?

— Забыл?

— Что-то не помню, сестра.

— Ишь, запамятовал, брат. А Шурка наша от кого в подоле принесла?

— Помилуй бог... Опять.

— Не помилую. Твое дитя, ты и корми.

— Помилуй бог! Опомнись, сестра, что говоришь-то! Девка на бахчах нагуляла, мало ли там парней разных...

— Бахчи-то твои были! Аль ты там не ночевал? А ну как я кровя ваши на проверку снесу, а? А сама-то Шурка аль немая, а? Клади деньги на стол!

— Не простит тебе бог, сестра, такую скверну... Деньги возьми, я и так сестре не пожалею. Все мы братья и сестры во Христе... А наказания божьего тебе...

— Выкладывай деньги, а там бог сам увидит, кого наказывать, у него, чай, тоже глаза есть!..

Мотя случайно услышала этот разговор. К тихой и забитой сестренке Евгения она относилась жалостливо — живет в работницах, ни людей ни света не видит, мыкает го-

ре. Одно лето Шкуратов возил Шуру на свои бахчи, а на следующую весну у нее родился мальчик. В доме был целый переполох; по три раза в день прибежал старик Шкуратов, Мотина свекровь и он запирались в комнате на ключ и подолгу о чем-то шептались. Мотя думала, что Шуру выгонят из дому, но, к удивлению, все уладилось тихо, без скандала. «Так вон, оказывается, в чем дело, вон почему не ругали и не проклинали Шуру...» Мотя убежала к себе в комнату, упала на кровать и заплакала. В этот вечер она впервые после принятия крещения не пошла на собрание в молельный дом. Ей были ненавистны и унылые гимны, которые распевали на богослужениях, и молитвы, которые теперь казались пустым набором слов, но, главное, ненавистны были сами верующие с их постылыми лицами, опущенными долу глазами. Они лживы, эти лица, эти люди! Не убоился же бога старик Шкуратов и надругался над своей домработницей. И никакой кары ему. И мать тоже: «Деньги на стол!..» А честь дочери, а заповеди божьи?! «Ложь, ложь, ложь!» — сквозь слезы шептала Мотя, ужасаясь тому, как она могла верить этим людям, которые называли ее грешницей, пророчили ей всякие страхи, а сами, алчные и злобные обманщики, притворяясь смиренными боговерцами, ходили во славе и благодати божьей!

Была и другая причина, заставившая Мотю серьезно задуматься над своей жизнью. После некоторого улучшения Евгению вновь сделалось хуже. Видно, не так уж и всемогущ бог, если не может вернуть здоровье мужу. А разве она не молилась, разве не просила, до онемения стоя на коленях и шепча молитвы? Нет, для нее, по крайней мере, бог еще ничего не сделал хорошего, а вот в больнице подлечили Евгения. Надо снова увезти его к врачам, и Мотя, ничего не сказав ни свекрови, ни старику Шкуратову, однажды днем наняла машину и увезла мужа в больницу.

Но было уже поздно, спасти Евгения не удалось. Через месяц он умер. Это случилось второго мая, в праздничный весенний день, когда ярко светило солнце и по нарядным, украшенным кумачовыми знаменами улицам города радостно шумели нарядные людские толпы. Мотя возвращалась из больницы с горестной вестью к своим осиротевшим детям — похожему до мельчайшей черточки на отца мальчику и шестилетней дочурке. Людской поток то захва-

тывал и увлекал ее за собой, то словно менялось течение, люди густо шли навстречу, и тогда она, желтая от бессонных ночей, убогая в своем скромном ситцевом платье, прижималась к оградкам и стенам домов, пропуская мимо это веселое разноцветное течение. Она слышала звонкие голоса, обрывки веселых фраз, и ей было больно оттого, что люди радовались в такой печальный для нее час, что они ничего не знали ни о ее горе, ни о ее разбитой и потерянной жизни.

Последний раз она помолилась с братьями и сестрами на могиле Евгения и больше уже никогда добром не поминала бога. Устроилась на работу в аптеку и совсем перестала ходить в молитвенный дом. Сына и дочку отдала в детский сад. А свекрови сказала:

— Можете не считать меня верующей.

Но братья и сестры во Христе не хотели так легко отпустить Мотю из общины. Чего доброго, так может и вся община разбежаться! Или она будет ходить на собрания, или — бог должен наказать ее, чтобы и другим было неповадно. Только вот чьими руками будет наказывать бог, этого пока еще старик Шкуратов не решил. Поздним вечером, когда Мотя была дома, он пришел к ней с проповедником Чиркиным и казначеем Кизинским, Помолились у порога и бесцеременно подсади к столу. Шкуратов молча обвел комнату взглядом, будто все здесь видел впервые, и заговорил, исподлобья посматривая на Мотю:

— Бога забыла, сестра, отошла от нас. Знай, не простит тебе господь такие грехи...

— Пусть наказывает,— ответила Мотя.— Какой он мне бог, если забрал мужа, забрал детей... Он мне не бог, и я ему не слуга.

— Дьявол вселился в твою душу, сестра, покайся, покайся, грешница несчастная.

— Не в чем мне каяться.

Старик Шкуратов встал и, проречески повысив голос, проговорил:

— Не миновать тебе кары божьей, будешь гореть на вечном огне!

Встали Чиркин и Кизинский и тоже нараспев заголосили:

— Падет кара на тебя и на детей твоих, и на внуков и правнуков!

— Вовек не замолить тебе грехов твоих!

Испуганные громкими мужскими голосами, детишки повскакивали с кроваток и прижались к Моте; девочка дрожала и сквозь слезы испуганно кричала:

— Мама, мама!

А Шкуратов басил:

— Погибель сойдет на ваш дом!..

Потом все трое смолкли, и проповедник Чиркин в тишине зашептал:

— Давайте помолимся, братья, пусть же даст ей господь терпение и силы вынести все мучения и вернуться к нам смиренной и кроткой, аки агнец, и в молитвах и изнурении пронести бремя земное, дабы открылись для нее двери вечного рая.

Они помолились и ушли, не закрыв за собой дверь. Как только за окнами стихли шаги, Мотя вновь уложила детей в кроватки, но самой спать не хотелось.

Приход Шкуратова с проповедником Чиркиным и казначеем Кизинским, их пророчества и угрозы растревожили и без того убитую горем женщину. Скрестив на груди руки, она долго сидела у детской постели и думала о муже, об умерших сыне и дочери, о своей несчастной судьбе. В своей жизни она совершила большую ошибку и теперь расплачивается за нее. Но в чем ошибка? В том ли, что полюбила Евгения, этого веселого паренька из сапожной мастерской? Или в том, что поддалась уговорам свекрови и старика Шкуратова и приняла веру? Три могильных холмика на городском кладбище, три близких сердцу человека похоронено под этими холмиками... Дети умерли от болезни. Но почему врачи, вылечивая других, не смогли вылечить ее детей? Да потому, что свекровь запрещала ей обращаться в поликлинику, не разрешала вызывать скорую помощь. Мотя отвозила детей в больницу, когда они были уже при смерти. При чем же здесь божья кара? Виновата свекровь, виноват старик Шкуратов. Это они погубили и дочь, и сына, и мужа. Мотя лютой ненавистью ненавидела их в эту минуту. Если есть бог, думала она, то он должен покарать их, а не ее! Ее не за что карать. Но как ни старалась утешать себя Мотя, пророчества Шкуратова, Чиркина и Кизинского тяжелым осадком легли на сердце. Прошло много дней, прежде чем она смогла забыть об этом вечере, о роковых предсказаниях боголюбцев.

Через восемь месяцев после памятного вечера у Моти заболел сын двусторонней свинкой и умер. Старик Шку-

ратов и свекровь немедленно воспользовались случаем и объявили, что Мотю карает бог за непослушание.

— Погоди, не такое еще наказание будет тебе! — угрожающе заявили они.

И действительно, вскоре Моте пришлось пережить самое страшное в своей жизни — похоронить последнего ребенка.

У девочки вспух на ноге чирей. Мотя, боявшаяся теперь всего, даже самой маленькой царапинки на тельце дочери, даже легкого кашля, немедленно повела девочку в поликлинику.

Когда выходили из дому, на крыльце стояла свекровь. Неприязненным, насмешливым взглядом посмотрела она на Мотю и на девочку с белой повязкой на ноге. Холодок пробежал по спине Моти от этого взгляда, она подхватила дочурку и поспешно вышла на улицу.

В поликлинике Мотю успокоили.

— Ничего страшного, на ноге у вашей девочки обыкновенный фурункул.

Выписали рецепт и сказали, чтобы дня через два привели дочь на перевязку.

— А в садик пока не отдавайте, пусть эти дни дома побудет.

Мотя так и сделала, дочурку оставила дома, а сама ушла на работу. В этот день она немного задержалась на работе. Возвращаясь, еще издали увидела необычное скопление народа возле своего дома. Сердце словно оборвалось — на крыльце стояли старухи-баптистки в черных платках, черных длинных юбках и черных накидках. Не к добру собрались они сюда, это черное воронье.

Мотя кинулась к двери, расталкивая людей. Перешагнула через порог, истошно закричала и без чувств упала на пол. Ее дочь лежала на столе посредине комнаты, закрытая черным полотном. У изголовья и по бокам стояли верующие и читали молитвы. Старик Шкуратов заметно бисил скорбным, надрывным голосом. Девочка была еще жива.

— Мама! — закричала она и приподнялась на локтях. От напряжения маленькое тельце ее забило в судорогах. Сестры-баптистки вновь уложили девочку и расправили на ней черное покрывало.

Три дня боролись врачи за жизнь девочки; на четвертые сутки в ночь она умерла.

Мотя плакала, потом затаилась, ни с кем не разговаривала ни дома, ни на работе. Одиночество — самое тяжелое испытание для человека. Тяжело было ей в четырех стенах опустевшего, принесшего столько несчастий дома. Она ко всему охладела. По неделям не убирала в комнате; только лежала с полузакрытыми глазами, перебирая в памяти горестные годы своей неудавшейся жизни. Было у нее счастье? Нет, не было. Была семья, но теперь и ее нет. Одна. Кругом одна. Лишь бы только не беспокоили ее ни све-кровь, ни старик Шкуратов. Она боялась каждого скрипа, каждого шороха в комнате, боялась стука в дверь — вдруг придут он и... в черном!.. По ночам она вскакивала с постели от тревожных и страшных снов и потом так и сидела до утра, не выключая свет. За окнами свистел ветер, наметая песок, и в этом свисте слышались ей жалобные детские голоса; ветер трепал сорванную с петли ставню, и ей чудилось, что это басит проклятия старик Шкуратов.

На работе знали только, что у санитарки Моти Сорокиной умерла девочка. Видя, как печалится и тоскует Мотя, сотрудницы посоветовали ей пустить квартирантов в дом, чтобы как-то развеять одиночество. Мотя ничего не ответила, но к совету прислушалась. Весной она пустила на квартиру молодую женщину, работавшую швеей на фабрике, Валентину Голубеву.

Это не понравилось старику Шкуратову — чужой глаз в доме! Мало ли что у квартирантки на уме, будет выносить сор из избы! Он пришел к Моте и напрямик заявил:

— Или будешь ходить на собрания и молиться, как прежде, или выметайся из дому! И никаких квартирантов! Слышишь?

Мотя молча выслушала его, молча проводила, закрыла за ним дверь. Она знала: Шкуратов не может отобрать у нее дом, закон на ее стороне. Знал об этом и сам Шкуратов. Тогда старик потребовал старый долг — пятьсот рублей. Мотя брала у него займы, когда еще болел Евгений. Это, думал старик, вразумит заблудшую сестру, ведь она перебивается с копейки на копейку. Но Мотя собрала последние вещи, продала их и отнесла деньги Шкуратову. Отдавала в присутствии шкуратовской старухи. Деньги были пересчитаны несколько раз, и только после этого Максим Иванович достал из сундука окованную железом шка-тулку, вынул из нее Мотину расписку и зло разорвал ее на клочки.

— Ступай!

Но на этом старик не успокоился. Он стал приходить к Моте на работу. Вызовет поговорить и начнет угрожать то выселением из дома, то божьими карами. Посещения старика были замечены сотрудниками аптеки. После разговора с ним Мотя возвращалась бледная, трясущаяся и уже ничего не могла делать.

— Кто это к тебе ходит? Что ему нужно от тебя? — допытывались они.

Мотя плакала и не отвечала. Ей было стыдно открыться перед сослуживцами, рассказать о своей жизни, о том, как ее обманули и заставили молиться; но в то же время она панически боялась и старика Шкуратова, который предупреждал, что если она вздумает что-либо рассказывать посторонним, тогда уже не божья кара, а сам он расправится с ней, как с отступницей.

Сотрудники аптеки написали коллективное письмо в редакцию областной газеты о посещениях старика. В тот день, когда появилась разоблачительная статья, Мотя, затравленная домогательствами Шкуратова, свекрови и старух-баптисток, лежала в бреду в своей комнате на той самой кровати, что подальше от окон, от яркого солнечного света, на которой умирал Евгений. Повязанные черными платками старухи читали евангелие.

— Молись,— настойчиво, требовала свекровь,— бог пришел, он возьмет тебя и простит тебе грехи твои. Молись, грешница!

Если бы не квартирантка, не было бы Моти Сорокиной в живых. Заморили бы ее голодом и молитвами эти богобоязненные и боголюбивые старухи, как черные вороны, облепившие кровать больной. Валентина Голубева сначала робко предложила Сорокиной вызвать врача. Та наотрез отказалась. На другой день Голубева снова стала настаивать, чтобы позвали к больной врача, но ей ответили, что если она вздумает соваться не в свои дела, то может горько пожалеть об этом. Тогда Валентина нашла адрес Мотиных родителей и сообщила им, в какую беду попала их дочь.

Приехал отец, разогнал молившихся старух и увез Мотю в больницу.

Сейчас Мотя работает на втором хлебозаводе. Коллектив помогает ей устраивать новую жизнь.

В областной прокуратуре, куда вызвали Шкуратова, лежит подписка старика, в которой он обязался ничем не угрожать Моте и не донимать ее карами божьими. И все же Шкуратов недавно пришел к ней в дом. На этот раз он не говорил о боге.

— Должок за вами, Матрена.

— Я вам отдала, Максим Иванович. И расписку вы порвали.

— Вот она, расписка-то,— и старик показал подлинную расписку.

В тот раз он порвал какую-то другую бумажку.

— Значит, вы?..— Мотя не договорила.

— Да, значит, я!.. Должок полагается отдавать.

— У меня сейчас только тридцать рублей. Возьмите, а остальные в получку отдам.

Шкуратов взял деньги. Осмотрелся, увидел на стене охотничье ружье, единственная память от Евгения, снял его с гвоздя и повесил себе на плечо. Уже перешагнув порог, обернулся и насмешливо бросил:

— Так вас, дур, и надо учить. Вы меня газеткой, а я вас рублем!..

МАТЬ И ДОЧЬ

В семье Сошниковых случилось несчастье. Острый приступ ревматизма свалил Клавдию Дмитриевну в постель. Молодая женщина, ей было тогда всего двадцать два года, не могла ни приготовить обед, ни убрать комнату, ни ухаживать за своей трехлетней дочкой Надей. Тут бы и помочь Клавдии Дмитриевне, отправить ее на курорт — ведь ревматизм, в конце концов, можно вылечить,— но совсем поиному поступил Петр Иванович Сошников, муж и глава этого небольшого семейства. «Жестокий человек»,— так о нем вспоминает теперь дочь, но тогда ей было всего три года. Что она понимала тогда? Отец выгребал из ящиков письменного стола разные бумаги и документы и, торопливо перебирая их, раскладывал на две стопки, а маленькая Надя стояла рядом и лепетала:

— А это мамина бумажка?.. Это тоже мамина?.. А это твоя? Ой, упала!..

Потом отец складывал вещи в чемодан, и Надя опять стояла около него и спрашивала:

— А ты на поезде поедешь, да?

— Да-да, на поезде!
— А на самолете лучше, у самолета уши длинные!
— Не мешай, Надя! Иди сюда, детка,— подзывала дочку Клавдия Дмитриевна.

Девочка подходила и начинала хныкать:

— Мам, почему папа уезжает?

В тот день Петр Иванович Сошников навсегда ушел из дому, оставив семью. Это случилось в последний год войны. Тяжелое время было тогда. Не хватало продуктов, не было дров, чтобы отопить комнату. Да и топить-то некому. Лежала Клавдия Дмитриевна в холодной комнате, и разные мысли приходили ей в голову: то ей казалось, что без мужа будет лучше, что жить с ним все равно тяжело: очень самлюбив и горд, то вдруг впадала в другую крайность, и тогда ей представлялось все иначе. Было страшно обидно и горько сознавать себя покинутой, брошенной мужем женщиной; в такие минуты она думала о смерти. А маленькая Надя в синем плюшевом пальто беззаботно бегала по комнате, таская по полу безногого мишку с блестящими бусинками-глазами, и то и дело спрашивала:

— Мама, а кашку варить будем?.. Мама, а папа сегодня придет?

Чутьем чуют баптисты, в каком доме несчастье. Вечером пришла к Сошниковым женщина лет сорока. Лицо ее Клавдии Дмитриевне показалось знакомым, где-то она уже видела эту женщину со странными, раскосыми глазами. Где? И вспомнила: на рынке, в ряду молочниц. У нее Клавдия Дмитриевна всегда покупала молоко.

— Узнала? — спросила женщина, заметив пристальный взгляд больной.

— Узнала...

— Ну вот, милая, пришла помочь тебе. Верой Павловной зовут меня. Сестрой Верой,— тут же поправила она себя.— Пропадешь одна-то и дитя загубишь. Где дрова, затоплю хоть да что-нибудь сготовлю.

— В кладовке... Ключ на гвозде, у двери.

Сестра Вера затопила печь, убрала комнату, сварила ужин. Клавдия Дмитриевна молча наблюдала за ней. «Нет, мир не без добрых людей,— думала она.— Вот пришла совсем почти незнакомая женщина и помогает...» Тепло становилось на душе от этой мысли. «Чем отблагодарю ее?..» Но сестра Вера, словно угадав мысли хозяйки, под села к ней и добрым, ласковым тоном заговорила:

— Не беспокойтесь, милая, я ведь пришла так, от сердца. О господи, добр человек от рождения, да дьявольских искушений на пути его много порасставлено, вот и сворачивает он с праведного пути. Господу верить надо, за него молиться, и тогда он своей рукой оградит нас от всяких бед и несчастий. Не убивайся, Клавушка, молода еще... Со мной тоже было несчастье...

— Какое?

— Такое же вот, в молодости муж бросил. Так я сдуру-то стреляться побежала. Да-да, было такое, чего испуганно смотришь?

— А почему не застрелились?

— Бог отвел руку... Стрельнула — и глаз вышибла... Это-то у меня, видишь, стеклянный. Вот, милая моя, всяко бывает в жизни. Одному богу пути наши ведомы, куда хочет, туда и повернет, что хочет, то и сделает. За грехи накажет, а за праведную жизнь вознаградит. Гордыню в себе ломать надо да помирней, помягче сердцем быть.

— Откуда вы знаете, что я гордая?

— Да уж знаю...

Клавдия Дмитриевна с удивлением рассматривала сестру Веру, и ей все больше нравилась эта немолодая отзывчивая женщина с такой же, как и у самой Клавдии, трагической судьбой. Удивляло все: и заботливость, и утешительный разговор, и мягкий, нежный голос, и сами слова, какими сестра Вера выражала свои мысли, и даже имя бога, это непривычное для слуха Клавдии имя, которое то и дело повторяла добрая женщина. «Набожная... смешно», — думала Клавдия. Она вспоминала, что мать ее тоже считала себя верующей. В доме, в переднем углу, всегда висела небольшая икона в позолоченной рамке и полотенце с петухами, но вот чтобы мать молилась перед этой иконой, — Клавдия ни разу не видела. Да и бога-то мать вспоминала не часто, а так, иногда, чтобы припугнуть ее, озорную девчонку. «А сестра Вера, наверное, молится. И у иконы, наверное, свеча горит, как у нас, бывало, в пасхальную ночь мать ставила...» Так думала Клавдия Дмитриевна, зная только одну веру, православную, и то смутно, по далеким детским воспоминаниям. Ни о баптистах, ни о субботниках, ни о староверах и мурашковцах, ни о разных других религиозных сектах она никогда не слышала, не имела никакого представления об их вере и обрядах богослужения. Се-

стру Веру она приняла за православную верующую и спросила:

— В церковь ходите?

— Что ты, типун тебе на язык! Разве можно в церковь, все попы — обманщики! Гореть им на вечном огне! Истинная вера — в скромности и воздержании, а не в золоте и парче. Мы на служение ходим в молебный дом. Баптистка я. Община у нас, пресвитер службу ведет, регент хором управляет, а мы молимся. Все мы — братья и сестры во Христе и живем заповедями божьими: делай добро ближнему, не обидь слабого, а помоги ему, не суди ближнего своего — да не судим сам будешь. У нас, милая, настоящая вера. Первый раз Христос-спаситель на землю пришел и своей кровью искупил грехи наши, а второй раз придет — избранных заберет. Вот мы и служим верой и правдой ему.

— Неужели и вправду бог есть?

— Грешница! Вот он тебя и наказал. И я не верила, оттого и осталась без глаза. А пришла ко мне женщина и начала вещать устами господними, а потом на собрание позвала — и очистилась душа моя от всяких греховных помышлений, и легко мне стало жить, милая. Ну, пора уходить. Спи, сестра, и поправляйся, а мы тебя не оставим.

На всю жизнь запомнила Клавдия Дмитриевна этот вечер, эту первую встречу с баптисткой. Ее покорили не рассуждения, а доброта женщины, искренность, с какой она рассказывала о себе, о боге, о собраниях в молебном доме. Так, по крайней мере, казалось Клавдии, хотя, прислушавшись она чуть повнимательнее, могла бы заметить много противоречивого и, пожалуй, неискреннего. Она могла бы догадаться, что выстрелить в упор в глаз и остаться при этом в живых невозможно. Рассказ сестры Веры выглядел неправдоподобно. А доброта ее была с дальним прицелом. Не по воле божьей и не по своей воле, а по указанию пресвитера пришла она к Сошниковой, чтобы вовлечь попавшую в беду женщину в секту.

Всю зиму каждый день приходила сестра Вера в дом Сошниковой. Наслушалась за это время Клавдия Дмитриевна разных религиозных сказок. Вера читала ей библию и евангелие и поясняла как могла непонятные места. Клавдия слушала сначала просто так, из любопытства, потому что все это было ново для нее и необычно. К тому же ей хотелось хоть чем-нибудь отплатить сестре Вере за доброту. Чтобы уважить ей, она сама брала библию и принима-

лась читать вслух. Блаженная улыбка появлялась на лице Веры в такие минуты.

— О господи,— произносила она, складывая, как для моления, ладони,— осчастливь нас своим присутствием и дай нам силы и веру для успокоения... Тебе, Клавдия, молитвы надо учить. Я принесла несколько самых необходимых, которые нужно знать. Написаны разборчиво. А читать их я тебя научу. Помолишься — и здоровья бог прибавит. Читай от души, от сердца читай...

Из уважения к славной сестре Вере Клавдия Дмитриевна выучила молитвы и читала их сначала с улыбкой, нарастающей, прислушиваясь к странному звучанию слов, потом постепенно привыкла к словам и читала уже с жаром, как истая верующая.

Заботливый уход Веры вскоре сказался на здоровье Клавдии Дмитриевны, она теперь вставала и ходила по комнате, готовила сама обед.

— Это от бога,— твердила ей сестра Вера.— Это бог дает тебе здоровье. Молишься, просишь, а он слышит...

Весной сестра Вера повела Клавдию Дмитриевну в молеальный дом. Большое впечатление на Клавдию произвел хор. Руководил хором юноша с голубыми глазами и пышными, зачесанными назад светлыми волосами. Он так искусно дирижировал, будто каждый раз сам создавал мелодию, и пел звонким и чистым тенором. И в хоре и в зале среди молившихся было много молодежи, так что Клавдия даже удивилась. Раньше она думала, что только одни старухи верят в бога... Один за другим выступили три проповедника, и Клавдии показалось, что проповеди их были обращены к ней. В перерывах между проповедями люди становились на колени и молились. Потом хор пел мелодичный и торжественный гимн, потом все собрание тоже пело какую-то красивую песню, весь зал, все присутствующие; пела и Клавдия — написанные на тетрадном листке слова песни сунула ей в руку сестра Вера, и ее сильный ровный голос, как свежая струя, вливался в общий хор голосов, а с другого конца зала как бы вторил ей высокий тенор юноши с голубыми глазами. Когда пение окончилось, Клавдия поймала на себе долгий и испытующий взгляд пресвитера.

— Понравилось? — прямо спросила сестра Вера, когда они вышли из молеального дома.

— Да, у вас хорошо,— улыбнулась в ответ Клавдия Дмитриевна.

— Бог сказал людям: делайте добро — и вы будете счастливы. Присмотрись к братьям и сестрам, хорошенько присмотришься...

В тот же вечер (Клавдия Дмитриевна, разумеется, не знала этого) у сестры Веры состоялся небольшой разговор с пресвитером.

— Хорошо послужила богу, сестра Вера, — степенно говорил пресвитер. — И бог и община наша отблагодарят тебя. Только не спеши вовлекать эту грешницу в веру. Осторожно, настойчиво разъясняя, что к чему, хорошие примеры есть у нас... Нужный она человек нам. Голос, какой голос! В хор предложи, а там и регентом можно сделать и проповедником. Какое у нее образование?

— Среднее.

— Очень хорошо.

— Гордыни в ней много.

— Остынет, в молитвах и пении забудется. Смотри, сестра Вера, карами божьими зазря не отпугивай, в меру, все в меру...

Дальновидным был пресвитер. Он сразу определил способности Клавдии Дмитриевны. Человек с хорошим голосом в секте — находка. Чем лучше поет хор, тем больше приходит народу послушать, тем привлекательнее богослужение, а значит, и вера крепче у грешных овец и сборы пожертвований щедрее. Пресвитер сам следил за вовлечением Клавдии Дмитриевны в секту. Сестра Вера только выполняла его указания. Клавдии помогали материально. Одобрили ее намерение пойти работать. Она устроилась в аэропорту техником-наблюдателем в отделе метеослужбы. Не возражали баптисты и когда она отдала дочку Надю в детский сад и когда поехала на курорт, на грязи, лечить ревматизм. Пока все в жизни Клавдии Дмитриевны было как и раньше, ничто не связывало и не стесняло ее. Верующие ей казались добрыми и отзывчивыми, не в пример некоторым грубиянам, с которыми она встречалась то на работе, то на улицах и в автобусе, то в магазинах города. Сама она не верила в существование бога, но ее привлекала доброта верующих. С удовольствием ходила на спевки хора, а затем пела во время богослужения. Появились новые подруги. Хотя по-баптистски все братья и сестры во Христе считаются равными, Клавдия Дмитриевна чувствовала, что к ней относятся с особым уважением, ценя ее голос и музыкальность, способность легко и точно воспроизводить

разнообразные мелодии гимнов (их у баптистов свыше шестисот), и это льстило ей, тешило ее самолюбие.

Через год Клавдия Дмитриевна заявила, что готова принять крещение. Крестили летом в небольшой запруде за городом. Дно было вязкое, илистое, и, чтобы войти в воду, опускали деревянные мостки с привязанными по краям камнями. Те, кого крестили, входили по доскам по пояс в воду, и пресвитер в белом халате торжественно басил:

— Крещу во имя отца и сына и святого духа, аминь! На берегу под развесистыми абрикосовыми ветвями славил бога хор.

Вечером в молебном доме было большое богослужение. Сестры и братья целовались со слезами радости на глазах и поздравляли окрещенных. На это торжество Клавдия Дмитриевна привела и свою дочь. Тогда Наде было пять лет.

Незаметно для самой себя Клавдия Дмитриевна сделалась молчаливой. Одеваться стала скромно, в тусклые, темные тона, как все верующие, а когда отправлялась в молебный дом, по-старушечьи повязывала голову платком. Раньше она любила книги, любила ходить в кино, театр и сама часто выступала на сцене с коллективом художественной самодеятельности, а теперь круг ее знакомств сузился, все ее мечты как бы переместились в глухие, украшенные библейскими цитатами и заповедями божьими стены молебного дома. Там она бывала три раза в неделю на богослужениях, туда ходила почти каждый вечер на спевки хора. На работе избегала разговоров со своими сослуживцами, под разными предлогами уходила с профсоюзных собраний, производственных совещаний и митингов. Не подписывала и не покупала газет, отключила радио. Сестра Вера подарила ей томик евангелия, и Клавдия Дмитриевна, аккуратно обернув его белой бумагой, ночами читала малопонятные старославянские речения. За такое усердие ее хвалили и пресвитер, и проповедники, и сестра Вера, ставили ее в пример другим верующим. Конечно, вылечить ноги от ревматизма помогли грязевые ванны, которые она принимала на курорте, но теперь все это приписывалось чудодейственной силе бога. Это внушали и самой Клавдии Дмитриевне, так говорили и другим: дескать, вот, поклонилась богу, молится денно и нощно — и здоровье ей господь возвратил.

Иногда в сознании Клавдии Дмитриевны вдруг насту-

пало прояснение, она стряхивала не успевший еще как следует прижиться в душе ее религиозный дурман. Хотелось сходить в театр, посмотреть кинокартину. В те дни, когда не было богослужения, она тайком от верующих ходила в городской кинотеатр. Но каждый раз сестра Вера как-то узнавала об этом.

— Бога бойся,— говорила она сердясь.— От его ока не уйдешь, покарает.

Но разговоры о наказаниях и карах господних пока не пугали как-то Клавдию Дмитриевну. Но вскоре ей пришлось воочию убедиться, как может карать бог за греховные дела и мысли. Это произошло в Ташкенте, куда переехала Клавдия Дмитриевна по приглашению пресвитера петь в хоре. На такую же работу она устроилась в ташкентском аэропорту, а дочь отдала в детский сад. Жить остановилась на квартире в доме баптиста Россейкина.

Россейкины жили на окраине. Огромный плоскокрыший дом их, как большинство старых среднеазиатских домов, выходил окнами во двор и был огорожен высоким глиняным дувалом. Россейкины держали кур, дойных коз, в небольшой клетушке против кухонных окон откармливалась породистая свинья. В огороженном густым штакетником саду наливались абрикосы и персики, а между деревьями зеленел душистый клевер, который старик Россейкин по утрам косил для коз и кур. Хорошее хозяйство было у Россейкиных, и жили они тихо, спокойно, замкнуто, торгуя овощами со своего огорода, яйцами и козьим молоком. Сын их Павел работал инженером на хлопкоперерабатывающем заводе. И вот как раз когда Клавдия Дмитриевна поселилась у Россейкиных (за определенную плату, разумеется, хотя все баптисты и считают себя братьями и сестрами), на эту семью обрушилось несчастье. Сын Россейкиных Павел не захотел жениться на баптистке, а привез себе невесту из Москвы, Шуру, с которой он подружился еще во время учебы. Это вызвало недовольство членов общины. Пресвитер с проповедниками решили воздействовать на родителей Павла, но отец его, шестидесятилетний старик, бывший тогда в почете и певший в первых рядах хора, заявил, что не может заставить сына изменить решение и выгонять его из дому тоже не будет.

— Кара божья падет на ваш дом,— заявил пресвитер на богослужении и под одобрительные голоса верующих исключил Россейкина из общины.

Спустя несколько дней у Россейкиных подошли куры; потом вздулись животы у коз, и их пришлось прирезать; потом околела свинья. Сразу, в одну неделю, разорились Россейкины. Старик не успел оглянуться — как двор его словно метлой вымели. Молча рыл он на огороде глубокие ямки и бросал в них окоченелых кур. Старуха Россейкина по-иному восприняла горе. Когда их исключили из общины, или, говоря языком верующих, закрыли им путь к богу, она устроила в доме громкий скандал со слезами и истерикой, так что сын Павел с молодой женой вынуждены были закрыться на ключ в своей комнате, а старик ушел в самый конец огорода, куда, кстати, все же долетали из открытых дверей громкие вопли.

Гибель кур, коз и свиньи привели старуху в неопиcуемый ужас. А тут еще сестры-баптистки подливали масла в огонь:

- Карает бог!
- Гони сноху нечестивую!
- Дьяволица опутала твоего сына!
- Не замолить теперь грехи!
- В аду гореть будешь вечно!

Красная от слез и бессонницы, раскосмаченная, старуха Россейкина то молилась, рыдая и протягивая трясущиеся руки к небу, то вдруг вскакивала, бежала к снохе и стучала кулаками в запертую дверь. Особенно буйствовала она, когда Павел уходил на работу. У дверей комнаты, в которой целый день сидела Шура, собирались сестры-баптистки и выкрикивали проклятия.

Ни приходившие в дом к Россейкиным, ни сами Россейкины, разумеется, не знали, что карал их совсем не бог, а пресвитер, и карал руками проповедницы сестры Феклы. Проповедница подсыпала отравы курам и свинье. Но кара должна быть карой, пусть видят верующие, как ужасен и жесток гнев божий — в доме Россейкиных должен кто-то умереть. Так решил пресвитер, а ведь его устами глаголет бог! И проповедница сестра Фекла взялась и за это дело. Это она приводила сестер-баптисток к Россейкиным и устранивала плачи и моления у дверей снохи, она зорко следила за старухой Россейкиной, и едва та начинала немного успокаиваться, вновь разжигала в ней страх и боязнь. Сестра Фекла натравливала и старика Россейкина на сына, так что однажды сын с отцом схватились за топоры. Вершился суд над вероотступниками, как назвал Россейкиных

пресвитер, и все это прикрывалось благочестивой вывеской: бог наказывает.

Старания проповедницы сестры Феклы вскоре дали свои результаты. Шура сначала плакала, потом притихла, будто успокоилась, а через два дня растрепанная, в одной рубашке выбежала во двор, на улицу и уже не узнавала даже своего мужа. Она от всех шарахалась, видя в каждом своего убийцу. Было страшно смотреть, как двадцатилетняя женщина в ночной рубашке носилась по улице с выпученными глазами и перекошенным ртом. Ее увезли в психиатрическую больницу.

Клавдия Дмитриевна была потрясена этим событием. «Божье наказание! Божья кара!..» — неустанно твердили вокруг. Верующие молились о спасении своих душ, не скупясь на пожертвования, а пресвитер ходил с гордо поднятой головой. Ведь пророчества его сбылись! Молилась и Клавдия Дмитриевна, с робостью оглядываясь на свой путь, не было ли, случаем, и у нее каких-нибудь тяжких грехов и не готовит ли ей господь жестокие наказания? Нет, не всемилостив и не всепрощающ господь, как ей говорили. Теперь Клавдия Дмитриевна даже боялась думать, чтобы взять в руки газету или сходить в кинотеатр — ведь сестра Вера тоже пророчила ей за это кары господни! Она теперь видела, как может наказывать бог, и не хотела на себе испытать такого наказания.

Жить в Ташкенте Клавдия Дмитриевна больше не могла. В ушах, как неумолчный звон, постоянно слышался истошный крик старухи Россейкиной; по ночам видела она тяжелые сны: будто приходила Шура с распущенными волосами и в белом и, заливаясь звонким хохотом, кричала: «За тобой пришла, за тобой!..» Потом оказывалось, что это не Шура, а сам ташкентский пресвитер, он хохотал басом и указывал перстом на котлы с кипящей смолой. Ни в одной божьей заповеди не было запрета переезжать из города в город, и Клавдия Дмитриевна решила уехать из Ташкента. Теперь на все, что она задумывала, Клавдия Дмитриевна спрашивала разрешения бога.

В ташкентском аэропорту ей выдали хорошую характеристику. Приехав в Термез, она без труда устроилась старшим техником-наблюдателем. Но в Термезе не оказалось ни одного баптиста. Клавдия Дмитриевна обошла все окраины, спрашивала у стариков, у молодых — нет, не было в городе верующих. Ей со смехом указали на мечеть с по-

лумесяцем на куполах, но и та, как говорили, давно, еще со времен басмачества не работает и сохраняется только как музейная редкость. Ничего не оставалось Клавдии Дмитриевне, как стать самой себе и пресвитером, и проповедником, и регентом, и паствой и аккуратно справлять богослужения в положенные дни. В первое время она так и делала, строго соблюдала все баптистские запреты; хранился у нее подаренный еще сестрой Верой томик евангелия, его и читала Клавдия вслух и пела гимны, заставляя подпевать дочь Надю. У дочери тоже обнаружился незаурядный слух и голос.

Так прошло около полугода, постепенно пыл к богослужению стал остывать в молодой женщине. Пропустила одну службу — ничего не случилось, никакой божьей кары; пропустила вторую — тоже ничего; потом пропустила третью — ни намек на божье наказание. Стала забываться и страшная история с семьей Россейкиных. Опять потянуло в кино, в театр, к людям. Когда познакомилась с офицером-танкистом Виталием Рыбаковым, совсем перестала молиться и спрятала томик евангелия на самое дно объемистого чемодана. Вместе с Виталием ходила в Дом Советской Армии, подружилась с женами офицеров. При Доме Советской Армии работал большой коллектив художественной самодеятельности. Вовлекли в кружок и Клавдию Дмитриевну. Один из артистов местного театра помогал кружковцам готовить к постановке пьесу «Калиновая роща», в которой Клавдии Дмитриевне дали главную роль. Пьеса прошла с успехом. Артистам самодеятельности преподнесли букеты, самый большой букет преподнес ей Виталий. Клавдия Дмитриевна словно помолодела, к ней вернулась и прежняя веселость, общительность, и прежняя привычка одеваться ярко, со вкусом. Изменилась даже походка. Женщина расцвела от счастья. Виталий перешел жить к ней в дом.

Но счастье длилось недолго. Виталия перевели служить в другой город. Прощаясь, он обещал приехать за ними, но через два месяца пришло от него короткое письмо, в котором он сообщал, что полюбил другую и женится на ней, что просит забыть все, что было между ними. Это был удар в самое сердце.

Почти одновременно с этим на Клавдию Дмитриевну обрушилось и другое несчастье. Начальник метеостанции термезского аэропорта сделал подложный документ на какие-то никем не выполненные работы и деньги присвоил

себе. Как старший техник-наблюдатель, этот документ должна была подписать Клавдия Дмитриевна. Она наотрез отказалась это сделать и назвала начальника мошенником, ворующим государственные деньги. Ему не понравилось это, и он стал придираться к разным мелочам по работе, запугивать, угрожать, что донесет на Сошникову как на сектантку в соответствующие органы. От угроз начальник перешел к делу — написал на Клавдию Дмитриевну донос, что она будто бы собирает у себя на дому людей для богослужения, но на самом деле ведет антисоветскую пропаганду. Клавдию Дмитриевну вызвали в милицию. Факты, разумеется, не подтвердились.

Как раз в тот вечер, когда Клавдия Дмитриевна вернулась из милиции, на столе лежало злополучное письмо от Виталия.

— Забыли мы бога, — сказала Клавдия Дмитриевна дочери, — вот он и напоминает нам о себе...

Всю следующую неделю она вновь ходила по городу и искала верующих. Наконец ей удалось найти одну старушку, тетю Пашу. И хотя тетя Паша была не баптистка, а субботница, Клавдия Дмитриевна обрадовалась встрече.

— Что ж жить порознь, переходи ко мне, — сказала тетя Паша.

Снова начались моления, ночные чтения евангелия. Тетя Паша в свое время была проповедницей, знала много гимнов и заповедей и удивляла Клавдию Дмитриевну своими познаниями. Она учила Клавдию воспитывать дочь в смирении и богобоязни, в молениях и кротости, вдали от мирской суеты; но в то же время и настаивала, чтобы девочка училась, потому что ныне с учеными нехристями могут вести борьбу и отстаивать веру христову перед людьми только ученые боголюбцы. В проповедях тети Паши проскальзывало недовольство советской властью, тоска по добрым старым временам. «Повидала свет божий, — говорила она о себе, — и на Соловках была, и по Волге скиталась, и вот — заехала на край земли»... Под влиянием тети Паши, этой женщины с довольно темной биографией, и Клавдия Дмитриевна стала поговаривать нелестное о порядках, о власти.

Она опять стала жить замкнуто, перестала общаться с людьми.

— Послушай, Надя, а знаешь ли ты какую-нибудь песню о боге? — спрашивала вечерами тетя Паша девочку.

— Знаю. Вот: «Бог любит маленьких воробьев...»

— А еще?

— Нет. Только одну знаю.

— Клавдия,— обращалась она к матери.— Скоро вербное воскресенье. Под вербное вот какие гимны должны петься,— она доставала большую, в ледериновом переплете тетрадь, находила нужную страницу и показывала Клавдии Дмитриевне.— Давайте разучим. И ты, Надюша, подсаживайся к нам...

Когда Надя уходила в школу, тетя Паша как бы между прочим заводила такой разговор:

— Да, вот времена настали, ныне и греховным наукам учиться надо, только не продавать душу дьяволу, соблазнам дьявольским не поддаваться. Вишь, как хитро: сначала в пионеры, потом в комсомол, а потом и в партию... Не разрешай Надюше в пионеры записываться. Никак не разрешай!

Тетя Паша была как бы наставником, и Клавдия Дмитриевна не смела ослушаться ее. Дочери она запретила вступать в пионеры. С этого запрета и началась у Нади мучительная двойная жизнь: в школе был один мир, одни интересы, дома — все другое... Впрочем, это началось еще раньше, в Ташкенте, когда Надя ходила в детский сад. В садике она вместе с другими детьми разучивала стихотворения Чуковского, Маршака, а дома ей запрещали все это рассказывать и заставляли заучивать совсем другое.

Когда собирались взрослые, Надя выходила на круг и говорила:

— Я — маленькая овечка,
У меня чистое сердечко,
Пастырь мой Христос,
А вы чьи?
— И мы Христовы,—

отвечали взрослые.

Так, с раннего детства Клавдия Дмитриевна калечила жизнь своей дочери.

Тетя Паша часто сетовала, что в Термезе нет верующих, говорила, что нужно уезжать туда, где «дети божьи и хлеб божий». В сущности она сетовала не на отсутствие верующих, а на то, что не могла никого втянуть в веру. Хотела создать общину и стать пресвитером, но это оказалось нелегко. В Уштобе у нее жили знакомые баптисты, и она решила переехать к ним. Там и молебный дом есть

и хор хороший. Стала уговаривать Клавдию Дмитриевну. Та согласилась.

После шумного Термеза серой, неудобной показалась маленькая, завьюженная песками станция Уш-Тобе. Не понравилось здесь Клавдии Дмитриевне. Работы по специальности не было, пришлось идти на стройку табельщицей-нормировщицей. Но самое главное — не понравилась Клавдии Дмитриевне община. В ней было как бы два проповедника: один — выборный, другой — самозванный, недавно приехавший откуда-то из Сибири. Братом Афанасием звали этого сибирского пресвитера. Как потом выяснилось, брат Афанасий был субботником и занимался раскольниковством — разбивал баптистские общины на баптистов и субботников. Когда из Новосибирска в Уш-Тобе приехал проповедник, он долго беседовал с братом Афанасием, а потом на собрании общины объявил его богоотступником.

В ту же ночь соседи видели, как перед утром брат Афанасий вдруг выскочил в натальном белье во двор и упал. Когда собрались люди, он был еще жив, но говорить не мог: изо рта хлестала кровь. Страшно умирал старик.

— Покайся, брат,— сказал новосибирский проповедник, довольный своим тайным злодеянием.

Умирающий мычал и отрицательно качал головой.

— Страшен суд божий,— заговорил проповедник, когда брат Афанасий последний раз судорожно дернулся и затих, дико выпучив остекленелые глаза.— Остер меч божий, священна кара господня! Она постигнет каждого, кто осмелится пойти против веры. Помолимся же, братья и сестры!..

Да, умеет б о г к а р а т ь своих отступников! Жестоко и беспощадно. В уштобинской общине и поныне не могут без содрогания вспоминать о мученической смерти брата Афанасия.

После этого события, потрясшего всех верующих, Клавдия Дмитриевна решила немедленно уехать в Лепсы. В Лепсах купила домик. Вместе с некоей тетей Дорой сколотила общину. Тетю Дору выбрали пресвитером, а Клавдию Дмитриевну — регентом, руководителем хора. Молельного дома не было. Собирались на богослужение в домике Клавдии Дмитриевны. Через год в общине насчитывалось свыше тридцати верующих.

Дальновидным был пресвитер, окрестивший Клавдию Дмитриевну. Она стала регентом и яркой проповедницей баптистской веры. Как когда-то сестра Вера, а затем тетя

Паша в Термезе воспитывали в ней богобоязнь и смирение, теперь она сама с той же настойчивостью и старанием взялась за воспитание своей дочери. Следила за каждым шагом Нади, устрашала ее гневом божьим, напоминала о мученической смерти брата Афанасия. В Уш-Тобе, когда умирал старик, Клавдия Дмитриевна с Надей стояли рядом и все видели и слышали.

У Нади был хороший голос. Она пела лучше, чем мать, легко, чисто, свободно. И мать и лепсинский пресвитер тетя Дора видели, что многие верующие ходят на богослужение послушать Надю. Иногда и Надя приводила школьных подружек. Чаще всех приходили Лидия Серебренникова и Крикунова, впоследствии ставшая рьяной баптисткой.

Но сама Надя втайне мечтала о другом — о сцене. Мечтала поехать учиться в консерваторию. Днем, после школьных занятий, девочка часто уходила на луг и там, в одиночестве, разучивала и пела задорные комсомольские песни. Нравилась ей и народные мелодии. Она знала почти все песни, какие пелись в школе, какие ей удавалось послушать у школьного радиоприемника. Она жила той раздвоенной жизнью, что началась еще в Ташкенте, в Термезе. Клавдия Дмитриевна, когда ее вовлекали в секту, тоже сначала жила этой двойной жизнью, но судьба ее сложилась так, что она не встретила человека, который помог бы ей вырваться из религиозных пут. Напротив, столкновения с нехорошими людьми разочаровывали ее, приносили несчастья, и она поневоле шла к верующим. В Лепсах она уже окончательно порвала с миром и стала ревностной проповедницей. Здесь она вышла замуж за баптиста дядю Ваню.

У Нади же все было впереди, жизнь еще ничем не омрачила ее чистого девичьего сердца. Какие люди встретятся ей на жизненном пути? Как сложится ее судьба? Будет ли она баптисткой или сумеет вырваться из сектантских сетей и стать нормальным советским гражданином? Она еще ничего не знала, она колебалась: не хотелось обижать мать, но и не хотелось расставаться со своей заветной мечтой о сцене.

Надя уже училась в девятом классе. В школе знали, что она верит в бога и ходит на баптистские собрания. Несколько раз беседовали с ней директор школы и классный руководитель Борис Владимирович Чибцов, но Надя отмалчивалась. Кое-кто из преподавателей настаивал на резких мерах, предлагали обсудить поведение ученицы со-

ветской школы на общем школьном собрании, но Чибцов возражал. Он понимал, что это может только оскорбить и навсегда отпугнуть девушку от общественной жизни, от людей. Надя до сих пор добром вспоминает внимательного и чуткого классного руководителя Бориса Владимировича Чибцова. Он оберегал ее от насмешек и в то же время осторожно, но настойчиво открывал ей, как много она может потерять в жизни, если пойдет за баптистами.

Однажды, когда мать болела, Надя решила выступить на школьной сцене. В школе готовился молодежный вечер. Для концерта нужен был ведущий с хорошим голосом и дикцией. Борис Владимирович пригласил Надю.

— Я согласна, — ответила Надя.

— А тебе можно? — осторожно, мягко спросил Борис Владимирович.

— Говорю, значит можно, — решительно подтвердила Надя.

Концерт прошел хорошо. Надя еще никогда не была так счастлива, как в тот вечер, когда она со сцены читала стихи и ей горячо аплодировали. Потом наперебой приглашали танцевать знакомые и незнакомые ребята, и она кружилась, радостная, веселая, забыв обо всяких запретах и карах божьих, которыми мать постоянно страшила ее. Все было внове: и чувства, и мысли, и лица, и веселая музыка. Счастливая девушка не заметила, как пролетел вечер; опомнилась она, когда очутилась у калитки своего дома. Рядом с ней был высокий русоволосый юноша, ученик десятого класса Юрий Матвеев. Юрий держал в своих ладонях маленькую, мягкую руку Нади.

«Что будет, если узнает мать?..» — с тревогой подумала Надя. Не бога боялась она, а матери. Бог пока еще смирительно не упрекал ее, а строгий материнский взгляд, материнские слезы — этого в ее жизни было хоть отбавляй. Она вырвала руку из Юриных ладоней и так, прижав его к груди, долго сидела у стола, глядя в голубой просвет окна. Не читала молитв. Раздумывала: почему, если бог хочет, чтобы все люди были счастливыми, запрещает им делать то, что они хотят? И что такое счастье? Как его понимает бог? Уронив голову на стол, Надя заснула с прижатым к груди томиком евангелия.

Мать, конечно, обо всем узнала, и в доме был скандал. Сначала она отругала Надю и пригрозила, что запретит

ходить в школу, потом плакала и просила не навлекать на семью гнева божьего; потом позвала верующих старух и пресвитера тетю Дору, и все они наперебой стали рассказывать о карах божьих, вспоминая разные виденные и слышанные истории. Мать вспомнила и о Россейкиных и, в который раз, о брате Афанасии. Но Надю больше всего пугали слезы матери. Она не могла видеть, когда плачет мать.

— Прости, мама, я больше никогда так не буду!..

— Ну вот и умница...

Но Клавдия Дмитриевна после этого случая еще строже стала следить за дочерью. Раньше она отпускала Надю на школьные вечера, правда, с десятками оговорок и запретов: чтобы не танцевала и, боже упаси, не пела, чтобы к десяти обязательно была дома. Однажды даже сама ходила посмотреть, как себя ведет на вечере дочь.

Надя сидела в красном уголке и играла в шашки.

— Надя!—властно позвала Клавдия Дмитриевна, приоткрыв дверь.

Надя вышла.

— Ты почему с мальчиками?

— Так в зале же танцы.

— Там играют в «ручеек»...

Еще тогда Клавдия Дмитриевна подумала, что дочери лучше не ходить на вечера, но теперь, после выступления на сцене — нет, теперь никаких вечеров. Как ни просилась Надя на новогодний, не пустила.

— Один грех еще не замолила,— строго сказала она дочери.

— Мама!..

— Не пойдешь.

Надя ушла в спальню и со слезами бросилась на подушку.

Приходили подружки:

— А где Надя? Она пойдет на вечер?..

— Она не хочет.

Приходил Юрий:

— Я за Надей... На новогодний вечер...

— Она не хочет идти.

— Мама! — закричала Надя.— Почему ты обманываешь? Сама не пускаешь, а сваливаешь на меня?

— Господи, как ты на мать!..

— Ты лжешь, лжешь, лжешь!

После этого пресвитер тетя Дора целую неделю толковала о святом обмане, разрешенном самим господом. Об этом даже якобы записано в евангелии, вот только запомнила она, в какой главе и какой стих. Ради господа и ради праведной веры можно идти будто бы и на еще большие обманы, чем тот, который допустила Надина мать. Если, к примеру, просят спеть, а отказаться неловко, неудобно, то можно перевязать горло платком и прикинуться нездоровой.

— Господи, ради святой веры твоей на что только не пойдешь!..

Летом, после долгих уговоров, Клавдия Дмитриевна решила наконец отпустить дочь на учебу в Алма-Ату. Всей общиной обсуждали, куда следует поступить Наде, и решили, что лучше в кредитно-финансовый техникум.

— При деньгах всегда,— рассуждала тетя Дора, не имевшая ни малейшего представления о финансовой работе.— Всегда себя сумеешь обеспечить.

Клавдия Дмитриевна кивала головой в знак согласия. В Алма-Ате Надя остановилась у знакомых баптистов, адрес которых дала ей заботливая тетя Дора. Не в кино, не в театр, а в молеальный дом повели Надю в первый же вечер, как она приехала в столицу. Богослужение вел старший пресвитер Казахстана Владимир Дмитриевич Тихонов. В зале молеального дома собрались верующие. На правой стороне, лицом к молящимся, стоял хор, а перед хором — струнный оркестр. Руководил хором и оркестром проповедник и регент алма-атинской общины баптистов младший брат казахстанского пресвитера Иван Дмитриевич Тихонов. Все здесь казалось красивым: и зал, и кафедра, с которой читал проповедник, и музыкальное и хоровое сопровождение проповеди, и само пение хора, и звучание торжественной музыки в сизовой дымке тускло горевших люстр. На таком богослужении Надя присутствовала впервые. Ничего подобного она раньше не видела и не знала. Она была очарована. Через знакомую баптистку, у которой остановилась на квартире, попросила устроить в хор.

— Хотя бы на время, пока здесь, в Алма-Ате.

— Это можно.

И вот Надя уже стоит перед регентом Иваном Дмитриевичем Тихоновым и поет на выбор известные ей баптистские гимны. Прослушав, Иван Дмитриевич похвалил ее голос и поставил в первый ряд хора.

Ехала Надя в Алма-Ату с затаенной мечтой, которую тщательно скрывала от матери: поступить в консерваторию. Хотела сделать так: никому не говоря ни слова, сдать документы в консерваторию и готовиться к вступительным экзаменам. Если выдержит экзамены и ее зачислят, перейдет жить в общежитие и напишет матери письмо. Пусть потом ругает, назад уже хода не будет. Если же провалится на экзаменах, то никто ничего не будет знать. Но встреча с алма-атинскими баптистами изменила ее планы. Яркие, с музыкальным оформлением, похожие с первого взгляда на концерты богослужения вскружили голову Наде. Она вдруг растерялась и заколебалась — поступать ли ей в консерваторию? Решила посоветоваться со старшим пресвитером Владимиром Дмитриевичем Тихоновым.

— Грех, Надя, иметь в голове такие мысли, — сказал пресвитер, всматриваясь в лицо девушки. — Другая дорога богом указана тебе. Ты должна петь в хоре и стать регентом своей общины. По образцу нашему будешь справлять службу и у себя... А учиться — мы не возражаем. Советовали дома тебе в кредитно-финансовый, правильно советовали, поступай. Будешь ходить в техникум и петь в нашем хоре. Регента будем из тебя готовить.

Но ни регента, ни финансового работника из Нади не получилось. В техникум она не прошла по конкурсу, что, к слову сказать, не слишком ее огорчило, и вернулась, к радости матери, в Лепсы.

Наступили скучные осенние дни. На улицах свирепствовал ветер, сгоняя в овраги мусор и листву; красный песок, как град, барабанил в стекла и косым сугробом ложился за избой. Надя почти не выходила на улицу. С Юрием Матвеевым, школьным товарищем, виделась редко. Юрий устроился на авторемонтный завод и целыми днями бывал занят, а вечером не решался приходить к Наде. Вечером в доме Сошниковых собирались верующие на богослужение, и Клавдия Дмитриевна никуда не отпускала дочь. С Юрием же она вообще запретила встречаться дочери.

— В бога не верит и не хочет верить. Счастья с таким человеком не будет...

— Юрий — честный.

— Я сказала, так и будет!

Неожиданно в Лепсах появились семипалатинские баптисты Дуся Ткаченко и Яков Шнайдель. Они приехали от мясокомбината на станцию Кара-Кумы заготавливать ка-

мыш. В субботний вечер пришли в дом к Сошниковым на собрание. После богослужения остались у них ночевать. Если верующим запрещается слушать мирские новости, то уж свои, баптистские, слушай хоть до утра. Сколько верующих в Семипалатинске? Есть ли молебельный дом? Есть ли хор и хорошие ли голоса в хоре? Кто регент, кто пресвитер, приезжий или местный? Обо всем этом расспрашивала Клавдия Дмитриевна неожиданных гостей. Но, между прочим, ее интересовали и кое-какие мирские вести: есть ли, например, в Семипалатинске хорошие учебные заведения, где могла бы учиться ее дочь?

— Техникум легкой промышленности,— ответил Яков.

— Это по какой специальности?

— Техников готовят на конфетные фабрики, на мясокомбинаты, — охотно разъяснил Яков, мало что зная об этом техникуме.— Пусть приезжает, поможем устроиться.

— Что ж, специальность хорошая,— заключила Клавдия Дмитриевна.— Я прямо с вами же и отправлю дочь.

Второй раз, не спрашивая согласия дочери, мать решила ее судьбу. Утром объявила:

— Собирайся, поедешь в Семипалатинск, в техникум легкой промышленности.

В Семипалатинск — так в Семипалатинск, для Нади было все равно куда, лишь бы подальше уехать от этих скучных Лепсов. «Если попаду в техникум,— думала она,— обязательно уйду жить в общежитие. Надоели вечные старушечьи собрания и песнопения...» Но все получилось не так, как предполагала Надя, и совсем не так, как хотела Клавдия Дмитриевна.

В Семипалатинске Надя остановилась у баптистки тети Маруси. Та сводила ее в молебельный дом, познакомила с регентом, молодым, лет двадцати пяти, парнем, окончившим, как говорили, музыкальное училище. И хотя в Семипалатинском молебельном доме все было далеко не так, как в алма-тинском: и проповедники слабее, и хор меньше и с худшим подбором,— все же Наде понравилось здесь. Ее голос сразу привлек внимание и пресвитера, и проповедников, и регента. Надя знала много гимнов и молитв. При случае она могла даже заменить проповедника. К девушке отнеслись с почтением и старые и молодые верующие. Неожиданный успех снова вскружил голову Наде, в сущности, еще ничего настоящего не видавшей в жизни. Она вовремя не подала документы в техникум и потому не была

допущена до экзаменов. Возвращаться в Лепсы не хотелось. Надя решила подождать год, а пока где-нибудь поработать.

— Ступай на мясокомбинат,— предложила тетя Маруся.— Там и баптисты есть,— она назвала кроме известных уже Наде Якова Шнайделя и Дуси Ткаченко еще несколько имен.— И притом у мяса всегда сыта будешь.

В отделе кадров мясокомбината Надю принял угрюмый, чем-то озабоченный человек.

— Что хотели? — спросил он.

— На работу...

— Какая специальность? Рабочей... В какой цех?

— В колбасный.

— Не принимаем.

— Тогда в консервный.

— Что вас туда тянет? Кто ни приходит, все хотят в колбасный, в консервный!.. Не принимаем. Пойдите в ЗПС.

— Это куда?

— На завод первичной переработки скота.

— Там крови по пояс! — ужаснулась Надя.— Нет-нет, что вы!

— Ну не знаю, что с вами делать, идите в жестянобаночный, что ли, к Лебедеву...

Начальник цеха Игорь Анатольевич Лебедев встретил приветливо, расспросил, где живет, где родители, нуждается ли в общежитии, учится ли в вечерней школе или где-нибудь заочно. Перейти в общежитие Наде показалось заманчивым, но она все-таки отказалась, как-то вдруг испугавшись этой новой, совершенно неведомой для нее жизни.

Первое время Надя сторонилась людей, мало разговаривала. Работала подручной. В обеденный перерыв приходили проводить ее Яков и Дуся. С ними она охотно делилась впечатлениями — как-никак это были свои, баптисты, братья и сестры во Христе. Она не знала, что Яков и Дуся приходили по поручению пресвитера, следили, чтобы она, неопытная и неискушенная, не свернула с пути истинного. Обо всем они рассказывали тете Марусе, а та передавала пресвитеру и писала Надиной матери. И только Надя не догадывалась ни о чем.

Следил за ней и еще один человек — начальник цеха Игорь Анатольевич Лебедев. Он сразу заметил посещения баптистов Якова и Дуси. «Или они только втягивают Надю в секту,— думал Лебедев,—или уже втянули?.. Надо спасти

девушку. Но как это сделать, чтобы не обидеть, не отпугнуть ее от коллектива?» Решил действовать осторожно: стал относиться к Наде с большим вниманием и заботой, часто беседовал и в разговорах как бы между прочим рассказывал о Доме культуры, о кружках, о том, сколько молодежи приходит на вечера и как весело проводят там время. Надя долгое время ко всему этому оставалась равнодушной. Но вот однажды, как-то само собой получилось, выдался случай поговорить начистоту. Было это под восьмое марта, как раз перед женским праздником. В обеденный перерыв в красном уголке электрик Полозов играл на баяне. Надя подошла поближе к баянисту и, когда он заиграл «Ляну», неожиданно запела.

— Вот это голос! — воскликнул главный мастер цеха Романовский. — Это же клад для нашей самодеятельности! Немедленно, Надя, записывайся в кружок, будешь петь. Завтра же и споешь нам что-нибудь на вечере.

— Нет, не буду, — смутилась Надя.

— А почему бы и не спеть? — вставил Лебедев.

— Не хочу.

— А все же?

— Не хочу и все.

— Я слышал о тебе... но не верю. Это правда?

— Правда.

— Неужели и на собрания ходишь?

— Хожу.

— А петь... баптистов боишься?

— Да.

— Не бойся, Надя, ничего тебе баптисты не сделают. Ты на жизнь посмотри, на свое будущее, с кем тебе по пути, со старухами, которые заставляют тебя день и ночь молиться и забыть о веселой музыке, задорных песнях, о счастье жить на земле, или с нами, молодежью?..

Надя часто теперь вспоминает, как все тогда получилось просто: после смены подошел Лебедев, взял за руку и повел в Дом культуры. Как отец провинившуюся девочку, вел он ее через площадь, и девчонка шла, покоряясь судьбе, будто все равно не избежать ей отцовского наказания, так уж лучше вытерпеть раз, а потом ходить с чистой душой. Она спела «Вижу чудное приволье...», «Перевоз Дуня держала...», «В роще калина...». Внимательно слушал ее учитель музыки Дома культуры, и хотя Надя волновалась и оттого пела плохо, учитель увидел незаурядные способно-

сти черноглазой девушки. Он назначил Наде дни занятий и отпустил. А Лебедеву сказал:

— Голос отличный. Ее можно устроить в музыкальное училище.

Домой вернулась Надя позднее обычного. Тетя Маруся обо всем уже знала: что Надя ходила в Дом культуры, что пела. Ей рассказали баптисты мясокомбината. Холодным взглядом окинула она переступившую порог Надю, но ничего не сказала. И Надя ничего не сказала. Молча прошла в свою комнату и уже оттуда, из-за дверей, сказала, что сегодня на собрание не пойдет, что тетя Маруся может ехать в молеальный дом одна.

— Захворала? — ехидно спросила тетя Маруся.

— Да, нездоровится мне.

— Не притворяйся, девка, знаю, что за хворь у тебя.

— Что вы знаете?

— Знаю милая. Все, что нужно, знаю. Отвечать придется перед богом-то.

— Отвечу, не ваша забота. Маме напишете?.. В общине расскажете?.. Ну и говорите, говорите, пишите! Делайте, что хотите!..

— Господи, дай терпение рабе твоей...

— С квартиры выгоните?.. Сама уйду. Завтра же уйду. Надя до утра не могла заснуть. Многие передумала и многое решила в эту бессонную ночь. Вспомнила и первое свое выступление на школьной сцене, и алмаатинский молеальный дом с его хором и струнным оркестром, и сегодняшнее посещение Дома культуры; вспомнила, каким внимательным и добрым взглядом смотрел на нее учитель музыки. То ей казалось, что она поступила правильно, решив порвать с сектой и начать новую жизнь; то вдруг охватывало сомнение перед неизвестной новой жизнью, и тогда становилось страшно за себя, за свое будущее. Она с ужасом думала, как огорчится мать, когда все узнает, сколько будет неприятных слез. Когда думала о матери, вспоминала скучные Лепсы с холодными ветрами и песчаными бурями, морщинистые лица старух-баптисток и их гнусавое пение, которого в последнее время Надя особенно не могла переносить. И опять мысли возвращались к доброму Лебедеву, к веселым цеховым подружкам, к светлым и уютным залам Дома культуры... Вот если бы теперь Лебедев предложил перейти в общежитие, она сразу бы перешла, но просить об этом, конечно, неловко. А от тети Маруси она все равно

уйдет. В конце концов, можно же найти в городе другую квартиру! И матери ничего писать не будет, пока не уладится все.

Утром, едва Надя вошла в цех, ее вызвал к себе Лебедев.

— Может, тебе лучше в общежитие перейти? Сегодня же устрою.

— Как я вам благодарна!

— Не за что, наш долг...

— Игорь Анатольевич, а что если мама придет?

— Приведи ее ко мне.

Надя перешла в общежитие, а через несколько дней приехала мать. Клавдия Дмитриевна сообщила о случившемся тетя Маруся.

Надя с матерью встретилась в общежитии. Поздоровались холодно, как чужие.

— Собирай вещи, пойдем! — сухо сказала Клавдия Дмитриевна.

— Не пойду, мама.

— Надя!

— Не пойду.

Клавдия Дмитриевна встала и, не прощаясь, вышла. Что делать? Было неприятно оттого, что не удался разговор с матерью, а поговорить надо, может быть, поймет и не будет осуждать. Надя оделась и пошла к тете Марусе, у которой наверняка остановилась мать. Дорогой обдумывала, что будет говорить, выбирала самые убедительные примеры, но все это моментально вылетело из головы, когда она вошла в дом. В комнате сидели старухи-баптистки, и Клавдия Дмитриевна рассказывала им о лепсинской общине. Надю поразило то, каким спокойным тоном говорила мать. Ожидала увидеть слезы, но все вышло так обычно, словно ничего не случилось.

Мельком взглянула мать на вошедшую Надю, и только когда закончила рассказ, повернулась к двери и спросила:

— Совсем?

— Нет.

— Ну что ж, бог взывает с тебя свое. Кому больше дано, с того больше и спросится. А могла бы пресвитером стать...

Надя почувствовала: разговора не получится. Так же, как и мать, когда уходила из общежития, Надя, не прощаясь и не говоря ни слова, покинула комнату. Шла быст-

ро, почти бежала, стараясь поскорее выбраться из темных окраинных улиц к светлому проспекту, к людям, к огонькам в окнах высокого корпуса общежития.

Сейчас Надя Сошникова учится в семипалатинском музыкальном училище на втором курсе. Недавно она вышла замуж за своего школьного друга Юрия Матвеева, который учится в семипалатинском медицинском институте. «Семья студентов», — так в шутку говорят о себе Надя и Юрий. Впереди у них светлая дорога.

Хорошие люди встретились Наде на жизненном пути, помогли ей выбраться из сектантского болота. Но мать и отчим до сих пор не оставляют ее в покое. Они переехали из Лепсов в село, под Фрунзе, организовали там баптистскую общину и доживают остаток своих дней в молитвах, выпрашивая у бога местечко получше в блаженном и вечном раю. Наде они пишут назидательные письма. Особо старается отчим. Вот одно из его писем:

«Мир тебе, дорогая наша дочь Надя!

Приветствуем тебя любовью Господа нашего Иисуса Христа твои папа и мама.

Благодарю Бога, Отца-спасителя Иисуса Христа и учителя Духа Святого за охрану нашей жизни до сего часа и за все благодеяния, какие он посылает нам.

Дорогая наша дочь Надя!

С того дня, как мы слышали от тебя те страшные слова, будто ты вынужденно, из-за страха перед матерью, служила Господу, великая скорбь вселилась в наш дом. Обдумано ли ты это сказала? Зачем, оставив бога своего, погналась за славой и почестью земной? Вспомни, сколько милостей он тебе давал, и покайся, пока не поздно, пока дьявол не искалечил твою жизнь и твою плоть. Это мы видим на примере. У нас была одна хорошая, красивая и здоровая девушка, но не исполнила заповеди божьей, вышла замуж за неверующего. И что же? Муж прогнал ее, она заболела, ей согнуло позвоночник. Стала горбатой, словом, калекон на всю жизнь. Вот плоды греха, вначале кажущегося сладким, но впоследствии горьким и печальным. Поэтому мы, как родители и как верующие, видя всю опасность и любя тебя, как родное дитя, хотим указать для примера на верность Пророка Даниила своему Господу!!»

Дальше Надин отчим подробно рассказывает о жизни некоего Даниила. Будущий пророк еще совсем мальчиком был угнан на чужбину и рос вдали «от дома Божьего, среди язычников-идолопоклонников и развращенных людей, но сохранил веру в Бога, в которого верить его научили родители». Как же он сохранил эту веру? Он по «три раза в день открывал окно своей горницы и преклонял колена для молитвы, обращая свой взор к Иерусалиму, к богу. Все Пророки были сильны, потому что их окна сердечные были открыты Богу, небесному Иерусалиму». Иными словами, отчим призывает Надю молиться, потому что только в «повседневном общении с богом» человек станет счастливым. А все земные радости, все то, что действительно делает человека счастливым,— созидательный труд, знания, любовь, товарищество,— все это «дьявольские искушения».

«Жизнь Пророка Даниила,— пишет отчим,— является для нас, верующих, удивительным примером верности и послушания Богу. Среда вавилонская не повлияла на него. Апостол Павел говорит: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Другой на месте Даниила, может быть, несколько раз упал бы. У него было множество искушений, но он устоял. Как в дни тяжелых испытаний, так и в дни благополучия он не забывал Бога и своей родины».

В конце письма отчим пишет:

«Сравни себя с Даниилом и тогда пришли нам, какое твое мнение. А пока на этом писать заканчиваю.

До свидания. С приветом и родительской любовью к тебе папа, мама и сестренка Люба».

Письмо любопытно не только своим слогом, но и содержанием, суждениями. Это — проповедь. По письму можно судить, какие проповеди читает на собраниях общины Надин отчим, чем отравляет сознание советских граждан. Горестно думать, какой путь предстоит пройти Надиной сестренке Любе, пока она тоже, как и Надя, сможет вырваться из религиозных пут.

Письмо отчима — далеко не безобидное послание. В нем выражена основная сущность сектантства. Что имеет в виду отчим, когда пишет о любви и преданности родине? Что он называет родиной? Даниил жил на чужбине среди язычников-идолопоклонников и развращенных людей, но остался верен богу. Надя должна сравнить себя с Дании-

лом. Значит, Надя тоже попала на чужбину и живет среди развращенных людей? Советское общество — это «худое сообщество, развращающее добрые нравы»? А что Надин отчим называет своей родиной? Тот маленький и гнусный баптистский мирок, тот пятачок земли с молельным домом, отгороженный от мира глухой стеной, где безнаказанно совершаются обманы во имя Христа, пресвитера с казначеем и проповедниками? Вот какую родину призывают любить баптисты, а настоящая родина для них — это чужбина. Разве пойдут такие люди, как Надин отчим, сражаться с врагом в трудный для отчизны час? Нет. Баптистские проповеди — это вовсе не безобидное восхваление веры христовой, а вредная антинародная пропаганда.

Надя не ответила отчиму на это письмо.

воскресное хлебопреломление

В воскресенье я побывал в семипалатинском молельном доме. Ходил не один, а со своим старым приятелем, иртышским шкипером Борисом Харченко. Борис — большой любитель литературы. Иногда и сам берется за перо, но своих записок пока еще никому не показывает. Даже мне. Но — не о литературных способностях Бориса...

Он охотно принял мое предложение. Внушительный рост его, широкие, сильные плечи, полосатая тельняшка в просвете слегка расстегнутого ворота... Что-что, а уж обидеть нас никто не посмеет. Потом, на другой день, друзья из областной газеты шутили надо мной: дескать, испугался, телохранителя взял. Пугаться, конечно, было некого и нечего, не на дикий разбойничий остров, не во вражеский стан отправлялись мы (хотя, надо сказать, было какое-то чувство робости), а всего-навсего к боголюбивым старикам и старухам на собрание.

От Нади Сошниковой и Моти Сорокиной я уже многое знал об этом молельном доме, и теперь хотелось самому посмотреть, как и что... Мы шли наугад, не выбирая дня богослужения, и попали как раз на «воскресное хлебопреломление». Каждое первое воскресенье месяца в баптистских молельных домах идет так называемая служба с хлебопреломлением.

В обычные дни недели баптисты молятся вечером, а в воскресенье — два раза, утром и вечером. Мы шли на утреннее молебствие.

В блокноте у меня был записан точный адрес моельного дома: Песчаная, 54. Сели в автобус и доехали до нужной остановки.

— Вот и Песчаная,— сказал я.— Сейчас посмотрим по номерам, куда нам, вверх или вниз, идти.

— Трата времени. Пойдем по течению.

— Как?

— Вот за этими старухами пристроимся в кильватер...

— Ты думаешь?

— Наверняка!

Прошли несколько кварталов. Не совсем доверяя шкиперскому чутью Бориса, я все же посматривал на номерные таблички.

— Не сомневайтесь, идем по курсу. Только течение слабое. Или все ваши рассказы о верующих — выдумка, или мы вышли слишком рано. Во сколько служба?

— В десять.

— А сейчас только четверть десятого. Предлагаю бросить якорь на ближайшем углу и ждать большой воды. Я хорошо понимал шкиперский язык Бориса: нужно остановиться на углу и ждать, когда верующие пойдут цепочкой, эта цепочка приведет нас к цели, или, как сказал мой друг речник, «к нужной пристани». Мы стояли и курили, перешучиваясь, что папиросы теперь придется упрятать поглубже в карманы, а может быть, даже выбросить, а то вдруг кто-нибудь из верующих учует табачный дух, и под этим предлогом не пустят в моельный дом или, что еще хуже, выставят на улицу на виду у всех. Мы должны были пожертвовать своими папиросами.

— Ну вот и большая вода, пора поднимать якоря. Двумя черными цепочками тянулись верующие по улице. У огромной лужи цепочки сливались в одну, и эта одна, огибая талую воду, медленно устремлялась к тесовой, выкрашенной в зеленое калитке. Только теперь мы заметили, что моельный дом — самый огромный во всем квартале. Он стоял во дворе, упрятанный от мирского взгляда. Все окна выходили во двор, со стороны улицы видна только глухая, аккуратно выбеленная стена. Когда мы приближались к калитке, мне казалось, какой-то тяжелый тленый запах исходил от моельного дома. В сущности, никакого запаха, конечно, не было, просто веяло нафталином от старомодных черных платков и расклешенных книзу долгопых старушечьих пальто. Все здесь напоминало старый мир:

и учтивые поклоны, какими приветствовали друг друга верующие, и тихие голоса, какими произносили они слова, и то, как, раболепно склонив головы, снимали старцы шапки перед входом, и лица с кроткими и смиренными улыбками. Будто сразу на сто лет назад передвинулась история. Это ощущение времени стало еще острее, когда мы поднялись на крыльцо и вошли в зал молельного дома. Нас встретил низенький, неопределенного возраста распорядитель в черном костюме, он поспешно, как рьяный слуга из старомосковской гостиницы, которому непременно хочется заработать на чай, принял наши пальто и шляпы. Не успели мы оглядеться, как подошел к нам другой, повыше, строже лицом и тоже в черном, он жестом пригласил нас следовать за собой. Подвел почти к самой кафедре и, указав на левый ряд скамеек, пробасил:

— Мужчины занимают места здесь.

Утром, еще перед выходом из дому, мы с Борисом договорились, что будем держаться в молельном доме строго, не смеяться, не разговаривать во время службы. Баптизм как-никак — разрешенная религия, и уж если зашел в храм божий, не оскорбляй чувства верующих. Сначала мы сидели одни, как подсудимые, на скамейке перед кафедрой. В зале было не больше тридцати человек. На таком заметном месте, на виду у распорядителя в черном костюме (он все время смотрел нам в спины), невозможно было оглядываться по сторонам, а хотелось именно сейчас, пока мало народу, рассмотреть зал. Желание всегда сильнее запрета. Я стал понемногу осматривать зал. Как раз напротив нас, в простенке между окнами, висели большие часы. Дальше, в следующем простенке, был укреплен продолговатый фанерный щит. На зеленом фоне щита белыми буквами было выведено: «Бог есть любовь». Такие же фанерные щиты с библейскими цитатами украшали и противоположную стену. Запомнилась одна надпись: «Мы проповедуем Христа распятого». Передняя часть зала напоминала обычную клубную сцену, но не очень высокую, приподнятую над полом только на одну ступень. На сцене справа отведено место для хора. Там установлены рояль, подставки для нот и специальные скамейки для хористов, похожие на школьные парты. Левая сторона сцены предназначена для пресвитера и проповедников. Они восседают за длинным столом, накрытым белой скатертью с вышитыми понижу словами: «Откушай хлеба сего, испей чашу сию». Но самое

внушительное на сцене — это, пожалуй, кафедра, с которой проповедники читают свои проповеди. Кафедра выкрашена в темно-коричневый цвет и устлана накрахмаленными кружевными салфетками, на салфетках лебединой шеей изогнулась настольная лампа. По стенам сцены вентиляторы.

— Устроились, а?.. — шепнул мне Борис, чуть заметно кивнув головой на вентиляторы.

«Жизнь земная преходяща, — глаголят баптистские проповедники. — Изнурай плоть свою, да откроются перед тобой двери вечного рая». Но свою плоть проповедники, видно, не хотели изнурать. Молебствие — процедура долгая и утомительная, особенно в жаркие летние дни. Тут от духоты, чего доброго, и обморок может случиться. А с вентиляторами хорошо, богу не обидно, и самим приятно. Но блага не для всех. Паства может молиться и в духоте. Для нее и скамейки поставлены теснее, и проходы уже, и никаких вентиляторов.

Я наблюдал за верующими, постепенно заполнявшими зал и сцену. Каждый входивший, прежде чем сесть, складывал руки ладонями вместе и читал молитву. Как шелест сухой листвы, растекался по залу шепот. Молитву, надо думать, все читали одну и ту же, но, странно, — для тех, кто оставался в зале, молитва была длинной, минуты на две-три, а для тех, кто проходил на сцену — короткой. Стоит в зале верующий и шепчет, шепчет, а на сцене, смотришь, едва сложил руки: «Пшш, пшш..» — и уже сидит, прямой и неподвижный, как мумия. Конечно же, не бога славить приходят сюда те, из ведущей двадцатки, а нечто другое влечет их. Как только не замечают этого верующие? Впрочем, вероятно, и замечают, да заповедь божья гласит: «Не осуди ближнего своего». А заповедь нарушать нельзя, бог покарает.

Народу собралось много. Среди верующих были молодые. Запомнились мне две хористки во втором ряду. Лет по шестнадцать-семнадцать им, не больше. Школьницы, ученицы! Как могло случиться, что эти школьницы очутились в молебном доме? Кто их родители? Кто их друзья? Кто их учителя? И учатся ли они?

Я с нетерпением ждал богослужения. Много хотелось узнать, понять, что влечет людей в эти мрачные стены божьего храма, что заставляет их исступленно молиться,

упав на колени и воздев руки к небу? И самое главное: что привлекает сюда молодежь?

Надя Сошникова рассказывала почти о сказочных концертах, устраиваемых в молельных домах. Я знал, что никакого концерта, конечно, не будет (по новому баптистскому уставу, разосланному общинам в 1960 году, концерты во время богослужения запрещены), но что же, что влечет сюда молодые сердца?

Богослужение началось пением гимна на немецком языке. Пели почти все в зале. Затем пресвитер объявил молитву, и все стали молиться, упав на колени. Только два старца, как два одиноких сухих дерева, шептали молитву стоя, склонив седые головы. Немошным бог разрешает молиться стоя. В дальнем углу кто-то всхлипывал, в другом конце кто-то громко, во все горло, кашлял и басовито шептал рубленные немецкие слова; позади нас, совсем близко, слышался ленивый тенорок украинца. Да, верующие представляли довольно-таки интернациональное собрание, но... об этом интернационализме несколько ниже. Я видел перед собой худую, согнутую спину юноши лет двадцати пяти. Юноша был истощен до такой степени, что казалось: под костюмом нет тела, а один скелет. Позднее, во время пения одного из гимнов, сгорбленного юношу стал душить кашель. Он отхаркивал кровавые сгустки в платок. Страшно было сидеть с ним рядом. Было такое ощущение, будто на моих глазах повторялась судьба Мотиного мужа Евгения. Бедный юноша, ему нужно немедленно к врачам, в больницу, а он — просит здоровья у бога! Может быть, та женщина, что всхлипывает в дальнем углу — жена этого юноши?.. Может быть, все так, точно так, как было у Моти Сорокиной?.. Хотелось закричать: «Опомнитесь, люди, что вы делаете?» Юноша молился истово, протягивая тощие руки к небу. А где же Шкуратов, где этот богобоязненный старик с хищным взглядом? Как молится он? Он, видно, умеет молиться, умеет подать пример верующим.

Девочки во втором ряду хора иступленно шептали молитву, вряд ли понимая смысл произносимых слов, отбивали поклоны и возводили очи к небу.

Молитва закончилась. Стук передвигаемых скамеек, шорох подошв и шелест долгополых черных юбок заполнил зал. Едва установилась тишина, запел хор «Осанна, вышний». Торжественная мелодия гимна, словно зародившись где-то далеко-далеко, наплывала на зал, усиливаясь и раз-

растаясь; голоса переливались: то будто забежали вперед басы, и тогда весь хор как бы спешил догнать эти ведущие голоса и войти в ритм, то, напротив, вдруг возвышались и набирали темп тенора, и басы вторили им, придавая особую, чарующую мелодичность песне. Вот что понравилось Наде Сошниковой. Вот он, магнит молельного дома! Умно придумано, отличная наживка. Кто же руководит хором семипалатинской общины? Баптисты, что касается их веры,— народ застенчивый, ничего от них не узнаешь. Одно несомненно: регент семипалатинской общины — человек одаренный, если сумел так отрепетировать хор. Он молод. Ему не больше двадцати пяти. Говорят, недавно окончил музыкальное училище. Я охотно верю этому. Но что привело его в баптистскую секту? Не та ли страсть к легкой наживе, что и бывшего командира пулеметного взвода Алтухова, принявшего в свое время сан пресвитера? Ведь регент, как пресвитер и проповедники, получает ежемесячный оклад из общинной казны, своего рода заработную плату. Бог всемилостив, и размеры этой платы ведомы только богу и самому пресвитеру.

Богослужение шло своим чередом. Один за другим поднимались на кафедру три проповедника. В перерывах между проповедями пел хор, пели все верующие и молились, опускаясь на колени. Первый проповедник, сухощавый, в очках, говорил маловыразительно, больше читал цитаты из евангелия — маленькой, почти карманной книжечки с бумажными закладками. Но уже первый проповедник сказал несколько слов в наш адрес. Мы с Борисом настороженно переглянулись. Надя Сошникова говорила как-то, что проповедники всегда обращают свои проповеди к новичкам, если таковые бывают в зале, «обрабатывают», так сказать, впервые посетивших молельный дом, чтобы утвердить их в вере христовой! Теперь эту самую «обработку» мы испытывали на себе. Проповедник читал стихи из Иоанна, как Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим. Он въехал будто бы за пять дней до пасхи, и народ устилал ему дорогу пальмовыми ветками, а некоторые бросали под копыта Иисусова осла свои одежды. Между прочим, хочу заметить, что евангелист Матфей этот же факт описывает несколько по-другому. По Матфею, Иисус Христос въехал в Иерусалим не за пять дней до пасхи, а за четыре, и не на одном, а на двух ослах верхом. Очевидно, для Иисуса Христа все возможно. Я слушал и думал, что если бы

можно было задавать вопросы, то этот проповедник оказался бы в смешном положении. Мне представлялось, как протекал бы диспут, как смеялся бы зал над нелепостями и противоречиями святых евангелистов...

— Для некоторых въезд Христа в Иерусалим — это миф. Некоторые считают, что ничего подобного не было, и готовы посмеяться над верой. А для нас, верующих, это вовсе не миф, а святое свершение воли божьей. Почему Христос ехал на осле, а не в золотой карете? Он не возвеличивал себя, но тем и велик был и есть для нас, и подал великий пример скромности и воздержания. Вечная хвала господу, слава ему, всевышнему милостивому спасителю нашему! Помолимся же, братья и сестры!

После молитвы на кафедре поднялся второй проповедник, невысокий, плотный мужчина лет сорока пяти. Бычья шея, огромные скулы, сильный затылок. Начавшие уже редеть огненно-рыжие волосы его были помазаны маслом и гладко прилизаны. От чисто выбритых розовых щек веяло здоровьем. Если бы я встретил этого человека на улице, непременно подумал бы, что вижу старого спортсмена-штангиста. Но вот этот похожий на штангиста проповедник открыл томик евангелия и начал читать что-то об апостоле Павле и его колебаниях в вере христовой. Голос его то возвышался до звона натянутой тетивы, то вдруг опускался до шепота; в самых драматических местах он принимался рыдать, как женщина на похоронах.

Странно было видеть слезы на лице здорового мужчины. Шмыгая носом, он призывал славить бога за дарованное людям благополучие.

— Душа должна веселиться, но не плоть, а для этого нужно молиться и молиться и слушать голос божий не тем ухом, которое способно слышать только глас человеческий, но ухом сердца своего!..

В притихшем зале всхлипывали. Все смотрели на проповедника. Когда он открывал евангелие, какой-то старец с седой клинышкой бородкой подходил на цыпочках к кафедре и приставлял к уху жестяную, как рупор, слуховую трубку, чтобы лучше слышать чтеца. Он, вероятно, был глуховат. Юные девушки во втором ряду хора во все глаза смотрели на проповедника и, казалось, готовы были вот-вот расплакаться. Не обращал внимания на проповедника только один человек — пресвитер Варфоломей Иосифович Грудцен. Он дремал, устало опустив руки и полуприкрыв

глаза: время от времени посматривал то на большие стенные часы, то на смиренно сидевшую в зале паству.

— ...и спросил Христос Павла: «Веришь в бога?» И увидев сомнение, спросил во второй раз: «Веришь в бога?» И увидев смущение в глазах ученика своего, спросил в третий раз: «Веришь в бога?» Тогда апостол Павел стал на колени и проговорил: «Господи! Ты же сам все видишь и знаешь! Разве я могу не верить тебе, Господи!..» Скажем и мы господу нашему: «Господи! Ты сам все видишь и знаешь! Многие верят в тебя сердцем и приходят в храмы твои, чтобы воздать славу тебе!..» — проповедник в упор смотрел на нас. — Прими и прости их, как простил апостола своего Павла, если и они, уподобясь Павлу, дважды промолчат, мучимые сомнениями, а на третий раз преклонят колена перед твоим светлым ликом!..

Прямо к богу стелил нам дорожку этот огненно-рыжий проповедник с фигурой штангиста.

Ну, а третий — им был сам пресвитер Варфоломей Иосифович Грудцен — удачнее всех подвел библейские примеры под современность. Он рассказал, что когда Иисус Христос приехал в Иерусалим, многие иудейские начальники приходили к нему по ночам и клялись в верности. Грудцен назвал имена тех иудейских начальников.

— Но почему они приходили к Иисусу Христу ночью, а не днем? Почему не могли открыто верить в бога? — будто бы сам себе задавал вопрос Грудцен, но смотрел прямо на нас. — Потому что боялись посмеяния народа. Вот и сейчас многие начальники тайно верят в бога и по ночам открывают свои сердечные окна господу, но открыто не признают веру, боятся посмеяния народа. Как Христос принимал иудейских начальников, так и мы должны открывать двери храма всем жаждущим веры христовой, всем, открыто и тайно молящимся господу нашему, отцу-спасителю Иисусу Христу!

И Борис и я заметили, что многие верующие, вначале косившиеся на нас, теперь смотрели приветливее.

Раньше я думал, что все в молевых домах происходит стихийно, кроме, конечно, пения хора, который репетирует гимны, но это совсем не так. Видимая стихийность — это точная и твердая, тщательно подготовленная пресвитером и проповедниками программа босослужения. Каждый раз кто-нибудь из ведущей двадцатки остается в зале среди паствы, во время службы он как бы ведет молитву. Едва

затишает один такой голос, как сейчас же в другом конце возвышается над согнутыми спинами другой. Все это продумывается и готовится заранее.

Музыкальное и хоровое оформление богослужений, несомненно, оказывает огромное психологическое воздействие на верующих.

Служба близилась к концу. Было без четверти двенадцать. Пресвитер снял салфетки, покрывающие пышный каравай белого хлеба и два графина с вином. Под пение гимна он разломил каравай на две равные половины, одну оставил у себя, другую передал стоявшему рядом проповеднику с огненно-рыжими волосами. Затем оба, запуская пальцы в мякиш, стали крошить хлеб на маленькие кусочки и складывать их на плоские блюда. Когда весь хлеб был искрошен, пресвитер объявил, что «искушать хлеба сего и испить чашу сию» могут только окрещенные в баптистскую веру. Тем же, что еще только испытывают себя в вере, прикасаться к божьему хлебу и священной влаге запрещено. Блюда пошли по рядам. Верующие вставали, брали нащипанный пресвитером и проповедником хлеб и торжественно, боясь уронить хоть крошку, отправляли его в рот. Потом складывали ладони вместе и молились. Когда опорожненные блюда вернулись к пресвитеру на стол, проповедники стали разносить красное вино. Все пили по глотку из одной рюмки: и больные, и здоровые, и тот туберкулезный, харкавший кровью, и старец со слуховым рупором и юные хористки (значит, они окрещены!), и какая-то древняя старуха с гнойниками на пальцах, которую поддерживали немолодые женщины, и распорядитель в черном костюме... Негигиенично. Нет, этого мало — преступно! Но никто из верующих, видно, не думал об этом. Заразиться от святой чаши нельзя. А если кто и заразится, так всегда можно сказать, что не от чаши болезнь, а — так богу угодно. Бог наказывает за грехи. За какие? Мало ли за какие. Подумал о чем-нибудь мирском, обыденном, вот уже и согрешил. В секте, в молельном доме все решается очень просто: бог всему судья.

— Пожертвуем, братья и сестры, на нужды общины, — возвестил пресвитер, когда оба графина и рюмки были опустошены.

И сейчас же откуда-то взялись два довольно емких, обтянутых темно-синим бархатом ковша. Сухощавый проповедник в очках пошел с ковшом в протянутой руке по пра-

вым рядам, а другой, с огненно-рыжими волосами, по левым. Глухо позвякивали падающие в бархатные ковши монеты; время от времени летели в ковши то хрустящий новый рубль, то зеленая тройка. Хор пел какой-то бодрый и веселый гимн.

Ковши двигались по рядам медленно. Проповедники не настаивали на пожертвовании, но и не торопились пройти мимо замешкавшихся.

Хор еще пел гимн, все еще стояли с благочестивыми улыбками на лицах, еще один ковш, отяжелевший от монет, ходил где-то по задним рядам, а пресвитер уже пересчитывал принесенные огненно-рыжим проповедником пожертвования...

Когда были пересчитаны деньги и во втором ковше, пресвитер обнялся и поцеловался с проповедниками. И все в зале тоже повернулись друг к другу и поцеловались:

- Благодарствие богу нашему.
- Слава вечная Христу-спасителю.
- Поговоришь с богом — и на душе легче...

В стенах этого дома пела баптистские гимны Надя Сошникова, здесь молилась Мотя Сорокина. Разные судьбы у этих бывших баптисток, навсегда порвавших с религией. Я не случайно снова вспомнил о них. Они были все в одной общине, виделись на каждом богослужении и ничего не знали друг о друге. Может быть, многие из молящихся здесь отреклись бы от религии, если бы всей общине стала известна правда хотя бы о делах Шкуратова. Но все, что здесь делается, покрыто святой тайной, ревностно охраняемой пресвитером и проповедниками...

с в я т о й о б м а н

В Семипалатинск я ехал в общем вагоне.

Ездить в общих вагонах не очень удобно, но зато не скучно. Публика разнообразнее. Тут и спекулянт с тонким капроном и шерстяными кофтами в чемоданах, тут и охающая бабушка с веселым внучком, для старушки все не так: чай не вовремя, проводница — грубиянка; тут и деревенский комик, тракторист или комбайнер, ездивший на курсы механизаторов и теперь возвращающийся в родное село, забавляет половину вагона смешными анекдотами о сельском горе-председателе или завхозе; тут и угрюмый экскаваторщик, решивший всей семьей махнуть прямо на

Ангару, где работа — так работа, в полный размах. Тут и знатная доярка, портрет которой был напечатан не только в районной, но и в областной газете, и известный строитель-бетонщик, с медалью на груди; стоят у окна бетонщик и доярка, весь день стоят — и разговору нет конца, как нет конца серой и однообразной степи за окном. А в соседнем купе низенький, верткий, с маленькими хитрыми глазами старичок яростно спорит с молодым человеком в ковбойке, доказывая существование бога. Старик только вернулся из вагона-ресторана, он немного навеселе. Может быть, не выпей он — никогда бы не разговорился, а тут — слова так и просятся сами на язык. Кто-то подшутил над стариком, сказав, что баптистам выпивать запрещается.

— Дьявол в твоём сердце сидит, — бойко ответил старик. — Это он глаголет твоими устами скверну на боголюбца! Да нешто можно такое?!

Встретить верующего, да ещё баптиста, да к тому же не по-баптистски разговорчивого — в наше время редкость. Я вошёл в купе к старику.

— Так что же сотворил бог в первый день творения? — спросил молодой человек в клетчатой ковбойке, продолжая, очевидно, разговор.

— Перво-наперво была тьма, так святое писание учит. Потом бог создал свет, и оттого пошли на земле день и ночь.

— Значит, свет создал? Так. А отчего же этот свет исходил?

— От солнца и звезд.

— Но светила-то, солнце и звезды, бог создал только на четвертый день творения, так ведь по писанию? Откуда же был свет?

— Как откуда? Нешто бог не знал, что делает?

— Выходит, не знал. Или... тогда как же объяснить святое писание?

— Насчет святого писания, мил человек, я не ючень мастак. Вы бы встретились с нашим пресвитером, Варфоломеем Иосичем, али с проповедником, они в святых писаниях начитанные, они все знают. С ними, мил человек, спорь не спорь, все одно за пояс заткнут. Варфоломей-то Иосич с детства учен, рассказывают, евангелие ему самим божьим посланником дадено. Вот как. А мы что? Мы простые верующие. Вот ты смотришь на меня, как на врага. А какой я тебе враг?

— Ну, допустим...

— Я тебе не враг, а брат во Христе. И жизнь в нас с тобой одна.

— Допустим, не...

— Что нам проповедники говорят? Все на земле есть от бога.

— И социализм?

— И социализм.

— И коммунизм?

— И коммунизм. А противиться божьим деяниям не дано.

— Так почему же вы закрываетесь в молебные дома, а не помогаете народу строить коммунизм? Выходит, противитесь божьим деяниям?

— Господи, дай силы,— взмолился старик.— Отчего выдаешь на посрамление раба твоего!.. Мил человек, ты со мной, неучем, не говори, ты потолкуй с пресвитером, он тебе разом все обскажет. А молимся мы по божьей воле, а не по своей прихоти.

— Что же, и спутники в космосе по божьей воле летают?

— Бог мячиками играет...

— А ну как мячик такой заденет твоего бога да сшибет его с небес, а?..

Старик обиделся и замолчал. Но через минуту, встрепенувшись, он уже снова гордо смотрел на молодого человека в клетчатой ковбойке и говорил:

— Мил человек, в святом писании все сказано, как нужно людям жить на земле. «Чти отца своего и мать свою — да благо не будет, и долголетен будешь на земли».

— Хорошо, отец, давайте о заповедях поговорим,— согласился юноша в ковбойке.— Он достал из спортивного чемоданчика блокнот, на обложке которого я успел разглядеть синими чернилами от руки «Противоречия религии». — Давайте о заповедях... Вы говорите, бог велел почитать родителей, а я скажу: нет!

— Как нет?

— Вот так,— юноша раскрыл блокнот.— Евангелист Лука в главе девятой, стих пятьдесят девятый — шестьдесят второй, пишет о Христе вот что: «А другому (одному из своих учеников) сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Представь мертвым погре-

бать мертвецов своих, а ты иди благовествуй царствие божие». Где же тут почитание родителей? Молитва важнее, чем погребение отца. Вот вам и заповедь божья!

Старик недоуменно моргал глазами.

— А вот, отец, о вашем религиозном равенстве и братстве, если хотите.

— Кошунствуешь?

— Зачем же? Из евангелия выписывал... Ну, слушай: все баптисты считают себя братьями и сестрами, так?

— Это верно, это по писанию.

— И немцы, и украинцы, и русские — все равны у бога, ко всем господь одинаково милостив. Так?

— Истинно так.

— Но сам Иисус Христос был ярким националистом.

— Как? Не понял!

— Националистом... Ну, для одной своей нации все делал, а других народов не признавал, — юноша снова раскрыл блокнот. — Однажды Иисус Христос ехал в Иерусалим со своими учениками. По дороге встретили они финикиянку. Вот как описывает евангелист Матфей в главе пятнадцатой, стих двадцать первый — двадцать восьмой, эту встречу. Финикиянка обратилась к Иисусу: «Помилуй меня, Господь, сын Давидов». Но он не ответил ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи! Помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Точно так же описывает эту встречу и евангелист Марк, только у него не финикиянка встречается с Иисусом, а гречанка. Почему Иисус отказался помочь бедной женщине? Да только потому, что она не из «дома Израилева». Выходит, не все были равны для Иисуса Христа. Одних, израильтян, он называл детьми, а других — псами. Вот вам и равенство.

— Это как же? — усомнился старик. — Пресвитер никогда не читал нам такого...

— Многое не читал вам пресвитер. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а дано быть в подчинении. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих; ибо неприлично женщинам говорить в церкви». Вот еще одно ваше религиозное

равенство. Это послание апостола Павла к коринфянам. Его вам пресвитер тоже никогда не читал и не прочтет.

— Мил человек!..

— Пресвитер, наверное, говорит вам, что Иисус Христос мир на земле проповедовал?

— Истинно так.

— А сам Иисус Христос вот что сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на земле; не мир пришел я принести, но меч!» Так пишет евангелист Матфей в главе десятой, стих тридцать четвертый.

— Меч на нехристей, мил человек, на иноверцев.

— Так Христос учит?

— Нет, мил человек,— гордо выпрямился старик.— Ты мне святое евангелие покажи, а не эту твою антихристову запись, вот тогда я поверю. Господи! Дай силы устоять!..— старик кряхтя полез на верхнюю полку.

Я вспоминал об этом вагонном разговоре, когда знакомился с «Уставом баптистских общин». Это было на другой день после посещения молеального дома. Читая и перечитывая параграфы «Устава», я все больше убеждался, что из всех религий, из всех существующих сект, баптистская — самая живучая. В основу своего вероучения баптисты берут только евангелие. Они и именуют себя обществом евангелистских христиан-баптистов. А евангелие само по себе очень противоречиво. В нем есть прямо противоположные друг другу заповеди — на любой случай жизни! Сегодня они говорят: «Не убий!», «Мы за мир!» А завтра, если империалисты развяжут войну, вытянут на свет другую заповедь: «...не мир пришел я принести, но меч!» Что стоит им объявить империалистическую агрессию карающим мечом божьим?

В Отечественную войну баптистские проповедники под предлогом божьей заповеди «не убий» призывали бросать оружие, вернее — предавать родину! Баптистские проповедники берут цитаты из евангелия применительно к обстановке. Что сегодня выгодно, то и проповедают пастве. А что именно выгодно — определяет баптистский центр.

В последнее время все больше и больше людей порывают с религией, отходят от сект. Явное недовольство вызывают у верующих строгие сектантские запреты: не слушай радио, не читай газет, не ходи в кино, не смотри теле-

передачи... В самом деле, разве можно в наше время не слушать радио и не ходить в кино? Для молодежи это совершенно немыслимо. И чтобы удержать паству в общинах, баптистские вожаки недавно разослали старшим пресвитерам указание, в котором снимаются столь строгие запреты. Это указание вошло отдельным параграфом в новый баптистский «Устав». Явное приспособленчество. А мотивируется это указание очень просто: все от бога! Господь создал и радио, и кино, и телевидение. Так почему же верующие не должны пользоваться этими божьими дарами? Просто кто-то искажил заповедь, но теперь, дескать, правда восстановлена, баптистские вожаки исправили ошибку.

Баптисты сплошь и рядом нарушают свой «Устав». Может быть, некоторые скажут, что это дело самих верующих — сами нарушают, сами пусть и разбираются. Это неверно. В параграфе о приеме новых членов в общину есть такой пункт: «С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено, надо уделять больше внимания воспитанию наших членов. Поэтому пресвитеры общин должны строго соблюдать двух-трехлетний срок крещения, а также возраст принимаемых в общину, стараясь свести крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет к самому минимальному количеству, и принимать в общину лишь действительно утвердившихся в вере и хорошо испытанных людей. От лиц учащихся или находящихся на военной службе не должны вообще приниматься заявления о вступлении в члены общины до окончания ими учебы или военной службы». Этот пункт во многом ограничивает деятельность общин и пресвитера. Если говорить логикой религии, то баптистский «Устав» для самих верующих есть не что иное, как божья заповедь. А божьи заповеди надо выполнять. Однако ограничения, видимо, не устраивают пресвитеров и проповедников, живущих по своему разумению: чем больше паствы, тем больше пожертвований. Взять хотя бы семипалатинскую общину. Каким образом были окрещены те две молоденькие хористки, сидевшие во втором ряду? Почему одну четвертую часть членов общины как раз и составляет молодежь в возрасте от 18 до 30 лет? В Семипалатинской общине явно не считаются с «Уставом». Знают ли об этом рядовые верующие? По всей вероятности, нет. Но общественность должна знать и строго следить за деятельностью разрешенных сект.

Есть в баптистском «Уставе» такой пункт: «Члены об-

щины должны быть достойными гражданами нашей великой социалистической Родины. Они обязаны наравне со всеми гражданами СССР честно трудиться и вести здоровую христианскую жизнь». Этот пункт вообще ни в одной общине не выполняется. Не говоря уже о таких, как Шкуратов, который живет не честным трудом, а занимается спекуляцией и другими грязными делами,— сама постанова богослужения противоречит этому пункту «Устава». Гимны, которые поются в молебных домах (кстати, так же, как и «Устав», они утверждаются баптистским центром), отнюдь не призывает верующих к честному труду и здоровой христианской жизни.

Вот, например, один из гимнов:

Край отчизны земной — не родной,
Не сравнить здесь с мирской суетой.
Не страшат все угрозы меня,
За Христа я умру молодой.
Посмотрел я на пройденный путь,
На безумство утраченных дней,—
Там смогу я свободно вздохнуть.
На земле час последний прожить...

Умереть за Христа молодым — вот, оказывается, в чем суть жизни. Зачем работать, зачем жить, ведь все кругом — это только «мирская суета», «безумство», «утраченные дни»! Только там, за гробом, можно свободно вздохнуть.

А вот отрывок из другого гимна:

Говорил я: все могу я.
Предо мной падет скала.
Я трудился, рвенья полный,
Строил дом, пахал поля.
Но мой дом размыли волны,
Не дала плодов земля.
И тогда, душой смущенный,
Я людей на помощь звал,
Но в работе обновленной
Их совет не помогал.
Безутешный и унылый,
Я упал на берегу.
«Беден я, во мне нет силы,
Ничего я не могу...»
Но меня постигло слово:
«Встань, возьми меня за руку,
Много, много силы в ней!»
И принял я зов и смело
Взялся за руку Христа.

С ним пошел на то же дело,
На бесплодные места.
И, о чудо! Зреет колос,
Вырос дом на берегу...

Люди не помогут, труд в коллективе — бесплоден. Поклонись богу, и он совершит чудо, сразу и «колос вызреет» и «дом вырастет на берегу»... Как совместить этот гимн с тем, что записано в «Уставе»: «Члены общины должны быть достойными гражданами нашей социалистической Родины»?

Я спрашивал у Нади Сошниковой, знала ли она баптистский «Устав».

— Нет, не знала, — ответила она.

— Нет!.. — ответила и Мотя Сорокина.

В баптистских общинах, кроме пресвитера, проповедников и, может быть, ведущей двадцатки, никто не знает «Устава». Верующие, вероятно, даже и не подозревают о его существовании. Но зато вредные антинародные гимны знают они отлично.

Божьи слова и предательские дела

В 1939 году в Москве была издана хорошая атеистическая книга «Спутник антирелигиозника», незаслуженно забытая ныне. В ней опубликована боевая статья А. Юрина «Фашистская карьера вожаков русского и международного сектантства».

Вот небольшой отрывок из этой статьи:

«Накануне империалистической войны 1914—1918 гг. многим казалось, что русские сектанты, резко отрицательно относившиеся к войне, исходят из религиозной заповеди «не убий». Во всяком случае, проповедники сектантства всеми силами старались доказать, что их антивоенные настроения были продиктованы религиозными соображениями.

Вожак евангелистов и баптистов — столпы русского сектантства Проханов, Одинцов, Тимошенко, Жидков, Павлов и другие — в те годы вели кампанию против войны, призывая собратьев отказываться от службы в царской армии.

Трудно было тогда разгадать скрытые пружины, толкавшие продувных спецов сектантства к пацифизму и оппозиции царскому правительству. Подоплёка была такова, что незадолго до начала империалистической войны руко-

водители русского сектантства Проханов, Одинцов и Павлов через берлинских сектантов заключили тайное соглашение с германскими империалистами, по которому обязались вести в тылу России пораженческую работу.

Германский император Вильгельм, имевший прямое отношение к этому соглашению, отпустил из своей казны полтора миллиона марок на финансирование пораженческой работы русских сектантов.

Эта политическая сделка между германскими капиталистами и вожаками русского сектантства заключалась не только в том, что вожаки сект обязывались заниматься разложением тыла. Расчеты вожаков русских сектантов шли дальше: они не имели достаточно средств для борьбы против революционного движения в России, а соглашение с германскими капиталистами эти средства давало».

Ныне «Всесоюзный Совет (Всероссийский, как иногда именуют его сами баптисты) евангелистских христиан-баптистов» возглавляет Я. И. Жидков, тот самый, который еще вместе с Прохановым, Одинцовым и Павловым участвовал в предательском сговоре с германскими империалистами. Я. И. Жидков одновременно является и вице-президентом «Всемирного Союза христиан-баптистов», центр которого находится в Америке, в Бруклине.

Во всех молельных домах имена русских баптистских вожаков произносятся с благоговением. А. Проханова боготворят, как самого Иисуса Христа. А знают ли верующие, что это самый Проханов в 1933 году тайно бежал из Советского Союза в Берлин и стал там одним из руководителей антисоветской фашистской организации «Свет на Востоке»?

Во время Отечественной войны проповедники баптизма тоже выдвигали на первый план заповедь «не убий».

Я помню такой случай. Наш полк стоял на переформировке в Брянских лесах. Прислали пополнение. Среди новичков двое оказались баптистами. Они наотрез отказались брать в руки оружие. Их, конечно, судили по всем строгостям военного времени, но дело не в наказании, какое они понесли, — они были предателями! Они отказались воевать.

Все сектантские заповеди о добре представляют собой ширму, за которой творятся гнусные дела.

30 августа 1958 года в самый разгар хлебоуборки в Ново-Покровском районе, Семипалатинской области, сектанты

организовали крещение. Они собрали верующих своего района, среди которых было сорок два механизатора, и повели их в лес, к Михайловским озерам. Сорок два хлебоуборочных агрегата целые сутки бездействовали на колхозных полях. И это в такое время, когда, как говорится, день год кормит. Это был по существу саботаж, срыв уборочных работ. Дорого обошелся государству этот день. А разве сектанты не знали, что делают? Знали. И скидок «смирным боголюбцам» на христову веру быть не должно.

В 1959 году в том же Ново-Покровском районе сектанты снова повторили «летнее крещение». Опять во время жатвы много механизаторов было сорвано с работ и уведено под пение гимнов к озерам. Не обошлось и без вредительства. Богдану Кауцу, например, очень хотелось остаться зерным богу и в то же время не уронить себя в глазах общестственности, так он взял и сломал лафетную жатку. Агрегат испорчен, почему бы и не сходить на крещение!

Невольно напрашивается мысль: а случайно ли все это?

Есть примеры, когда сектанты открыто выступают против советских законов. Виктор Трофимович Руднев, демобилизовавшись из армии, женился на баптистке Любе Курбатовой и принял крещение. К Курбатовым из Караганды приезжал брат во Христе Яков и привозил так называемые религиозные листовки. Руднев стал распространять эти листовки, а в своих проповедях он пугал людей концом света, призывал не работать на предприятиях, не соблюдать советских законов, не подписываться под воззванием за мир, не служить в Советской Армии.

Действия Руднева, разумеется, немедленно были пресечены. Но любопытно другое. С Рудневым беседовал член Совета евангелистских христиан-баптистов Искорестинский.

— В ваших проповедях много политики,— заметил Искорестинский,— а это может повредить секте.

Видите ли, это может повредить секте! Не ангинародная пропаганда беспокоит баптистских вожakov, а боязнь: как бы не закрыли секту!

Сила примера — самая действенная сила. Изуверские и предательские дела сектантов должны быть широко известны общестственности. Факты, разоблачительные факты — вот главное оружие против сектантского дурмана.

г. Семипалатинск.

7 мая 1961 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Козыри монаха Григория . . . 3

Тень Иисуса 111

Аваньев Анатолий Андреевич.

КОЗЫРИ МОНАХА ГРИГОРИЯ.

ТЕНЬ ИИСУСА. Повести.

Алма-Ата, «Жазушы», 1967. 176 с.

Редактор *Н. Муханова*
Художник *В. Пятницкий*
Худож. редактор *Э. Полякова*
Технич. редактор *П. Вальчук*
Корректор *А. Сокульская.*

Сдано в производство 19/XII-1966 г.
Издат. № 23. Подписано к печати
2/II-1967 г. Бумага типограф. № 2,
84×108¹/₃₂—5,5 печ. л.—9,24 усл. п. л.
(Уч.-издат. 9,87 л.).
Тираж 100 000 экз. Цена 39 коп.

Алма-Ата, Полиграфкомбинат Глав-
полиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров КазССР
по печати. Заказ № 2.

39 коп.